

ТОМАС  
ДЖЕРМС

*Поворот винта*

ЛЭЙ/КА/СО/СИ/СС/А

Генри Джеймс  
**Поворот винта**  
Серия «Рассказы о  
псевдосверхъестественном  
и ужасном», книга 1

*OCR Busya*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=143281](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=143281)*

*Генри Джеймс «Поворот винта»: Азбука-классика; Санкт-Петербург;  
2005*

### **Аннотация**

Повесть «Поворот винта» стала своего рода «визитной карточкой» Джеймса-новеллиста и удостоилась многочисленных экранизаций. Оригинальная трактовка мотива встречи с призраками приблизила повесть к популярной в эпоху Джеймса парапсихологической проблематике. Перерастая «готический» сюжет, «Поворот винта» превратился в философский этюд о сложности мироустройства и парадоксах человеческого восприятия, а его автор вплотную приблизился к технике «потока сознания», получившей развитие в модернистской прозе. Эта таинственная повесть с привидениями столь же двусмысленна, как «Пиковая дама» Пушкина, «Песочный человек» Гофмана или «Падение дома Ашероув» Эдгара По. Обитателей усадьбы

Блай преследуют кошмары; показания очевидцев субъективны, ни что прямо и, безусловно, не свидетельствует о том, кто именно является преступником... Может быть все происходящее – розыгрыш или галлюцинации? В любом случае вы, сами того не замечая, становитесь участником «охоты на ведьм».

# Содержание

I	19
II	26
III	34
IV	43
V	52
VI	60
VII	72
VIII	81
IX	90
X	98
XI	105
XII	111
XIII	117
XIV	125
XV	132
XVI	137
XVII	142
XVIII	151
XIX	157
XX	163
XXI	171
XXII	182
XXIII	188



# Генри Джеймс.

## Поворот винта

Мы сидели перед камином и, затаив дыхание, слушали рассказчика, однако, помимо того что рассказ был страшный, как оно и полагается в старом доме накануне рождества, помнится, никаких комментариев на этот счет не последовало, пока кто-то не обронил замечания, что он впервые слышит, чтобы такой призрак явился ребенку<sup>1</sup>. Упомяну, кстати, что речь шла о появлении призрака в точно таком же старом доме, в каком собрались мы. Маленькому мальчику, спавшему в одной комнате с матерью, явилось самое ужасное привидение; он разбудил мать – не для того чтобы она успокоила и снова убаюкала его, но чтобы она и сама, прежде чем успокоить ребенка, увидела то, что так его напугало. Как раз эти слова, не сейчас же, а позже вечером, вызвали у Дугласа реплику, на любопытное следствие которой я обращаю внимание читателя. Кто-то из нас рассказал еще

---

<sup>1</sup> В первых трех томах Отчетов Парапсихологического общества (The Psychic Society) опубликованы десять эпизодов явления призраков детям. Генри Джеймс живо интересовался успехами в этой области исследований психики и лично знал ведущих членов Общества. Его брат, психолог и философ Уильям Джеймс, состоял в нем с 1884 по 1896 год. Парапсихологическое общество существует и поныне.

одну, не слишком увлекательную историю, но, сколько я мог заметить, Дуглас ее не слушал. Судя по этому признаку, я решил, что ему самому хочется что-то рассказать, а слушателям остается только ждать, когда он начнет. И в самом деле, нам пришлось дожидаться всего два дня, но еще в тот же вечер, перед тем как мы разошлись по комнатам, он высказал то, что лежало у него на душе.

– Каков бы ни был призрак мистера Гриффина, я совершенно согласен, что в его появлении ребенку такого нежного возраста есть нечто странное. Насколько мне известно, это не первый случай подобного рода, когда в событии участвует ребенок. Если один ребенок дает действию новый поворот винта, то что вы скажете о двух детях?

– Мы, разумеется, скажем, что это дает винту два поворота! А кроме того то, что мы хотим о них послушать.

Как сейчас вижу Дугласа, стоящего перед камином; повернувшись к огню спиной и засунув руки в карманы, он глядел на собеседников сверху вниз.

– До сих пор никто не знает этой истории, кроме меня. Уж слишком она страшна.

Естественно, раздалось несколько голосов, утверждавших, что это-то и придает ей особенную цену, а наш друг, спокойно предвкушая свой триумф, обвел взглядом всех собравшихся и продолжал:

– Эту историю не с чем сравнивать. Я не знаю ничего страшнее.

– Неужели нет ничего страшнее? – помнится, спросил я.

Казалось, ему не так просто было ответить: он, видимо, затруднялся дать более точное определение. Проведя рукой по глазам, он слегка поморщился:

– Да... по ужасу... по леденящему ужасу...

– Ах, какая прелесть! – воскликнула одна из дам.

Дуглас не обратил на нее внимания; он смотрел на меня, но так, словно видел не меня, а то, о чем сейчас говорил.

– По сверхъестественной жути, по страданию и по мукам.

– Ну, хорошо, – сказал я, – если так, садитесь и начинайте свой рассказ.

Он снова стал лицом к камину и, толкнув ногою полено, с минуту глядел в огонь. Потом обратился к нам:

– Начать так сразу я не могу. Придется посылать в город.

Все единодушно запротестовали; посыпался град упреков, и тогда Дуглас, видимо, поглощенный своими мыслями, объяснил нам:

– Все это записано, а рукопись заперта в столе, и уже много лет к ней никто не прикасался. Надо написать моему доверенному и послать ему ключ: он достанет пакет и пришлет сюда.

Казалось, ко мне в особенности он обращался с этими словами, словно умоляя оказать ему помощь в его колебаниях. Он разбил лед, нараставший в течение многих зим; очевидно, у него были свои причины молчать так долго. Остальным не хотелось откладывать чтение, но меня пленили именно



его колебания. Я уговорил Дугласа послать письмо с первой же почтой и прочесть нам рассказ как можно скорее. Потом я спросил его, не из личного ли опыта взял он такой случай. На что он немедленно ответил:

– О нет, слава богу, нет!

– Но рассказ ваш? Это вы его написали?

– Мое тут только впечатление. Оно заключено вот здесь. –

И он прижал руку к груди. – Я не в силах его забыть.

– Так, значит, ваш манускрипт...

– Написан старыми, выцветшими чернилами и самым изящным почерком. – Он снова помедлил. – Женским почерком. Прошло уже двадцать лет, как она умерла. А перед смертью прислала мне эту рукопись.

Теперь все слушали Дугласа, и, разумеется, нашелся среди нас некий остроумец, охотник отпускать шуточки или, по крайней мере, делать намеки. Дуглас принял намек без улыбки, однако и без раздражения.

– Это была очаровательная особа, но старше меня десятью годами. Гувернантка моей сестры, – спокойно ответил он. – Самая прелестная из женщин ее профессии, она была бы достойна самого высокого положения в обществе. Все это дело давнее, а эпизод, ею описанный, происходил еще того раньше. Я учился тогда в Оксфорде, в Тринити-колледже, и застал ее у нас в доме, приехав на летние каникулы. В тот год стояло прекрасное лето, я редко уезжал из дому, и в ее свободные часы мы гуляли в парке и беседовали – меня пора-

жал ее незаурядный ум и утонченность. Да-да, не ухмыляйтесь: мне она чрезвычайно нравилась, и я до сих пор счастлив тем, что и я тоже нравился ей. Если б этого не было, она бы мне ничего не рассказала. Никому другому она ничего не рассказывала. Я это знал не только от нее, но чувствовал и сам. Уверен, что она не говорила больше никому – это было ясно. Вы и сами в этом убедитесь, когда я прочту вам ее рассказ.

– Потому, что эта история такая жуткая?

Он пристально смотрел на меня.

– Вы сами в этом убедитесь, – повторил он, – вы это поймете.

Я смотрел на него так же пристально,

– Понимаю. Она была влюблена?

Тут он впервые улыбнулся.

– Вы очень проникательны. Да, она влюбилась. То есть еще до этого. Ее тайну раскрыли; ей невозможно было рассказывать без того, чтобы ее влюбленность не стала явной. Я ее понял, и она это видела, но мы с ней не сказали об этом ни слова. Помню и время и место: угол лужайки, тень от буков и долгий, жаркий летний день. Место действия не внушало никакого страха, и все же!...

Он отошел от камина и снова уселся в кресло.

– Вы получите пакет в четверг утром? – спросил я.

– Я думаю, не раньше чем со второй почтой.

– Отлично, тогда после обеда.

– Все мы соберемся здесь? – И он снова обвел нас взглядом. – Никто не уезжает? – В его тоне сквозила надежда.

– Мы все останемся!

– Я останусь!... И я тоже останусь! – воскликнули те дамы, чей отъезд был уже назначен. Миссис Гриффин, однако, выразила желание узнать несколько больше.

– В кого же она была влюблена?

– Вы это узнаете из рассказа, – поспешил ответить я.

– Но я его не дождусь!

– Из рассказа этого нельзя будет узнать, то есть в буквальном, грубом смысле слова, – сказал Дуглас.

– Тогда тем более жаль. Мне только такой смысл и доступен.

– Дуглас, быть может, вы нам объясните? – попросил кто-то другой.

Дуглас вскочил с кресла.

– Да, завтра. А сейчас я иду спать. Спокойной ночи! – И, захватив свой подсвечник, он быстро удалился, оставив нас в легком недоумении. Из нашего угла в большом, темном холле нам слышны были его шаги по лестнице.

Потом заговорила миссис Гриффин:

– Ну что ж, если я не знаю, в кого она была влюблена, зато знаю, в кого был влюблен Дуглас.

– Но ведь она была на десять лет старше, – заметил ее муж.

– В этом возрасте – *raison de plus!* Но как это мило, что он так долго молчал!

– Сорок лет, – заметил Гриффин.

– И наконец такая вспышка!

– Эта вспышка даст замечательный эффект в четверг вечером, – возразил я, и все остальные согласились со мной, – в ожидании четверга мы ничем более уже не интересовались. Была рассказана еще одна малоувлекательная история, похожая на первую главу романа с продолжением, и все мы, распроставшись на ночь и захватив свои подсвечники, отправились спать.

Наутро я узнал, что письмо и ключ уже отправлены на лондонскую квартиру Дугласа с первой почтой. Однако, вопреки этому быстро распространившемуся известию, а быть может и благодаря ему, мы не стали докучать Дугласу до после обеда – до вечернего часа, который более всего соответствовал тем эмоциям, которые мы предвкушали и на которых сосредоточивались наши надежды. И тут он стал до такой степени разговорчивым, что большего нельзя было желать, и даже объяснил нам почему. Мы снова слушали его, собравшись у камина в холле, как и вчера вечером, и испытывая приятное волнение. Оказалось, что повесть, которую он обещал нам прочесть, для полного понимания действительно нуждалась в кратком прологе. Да будет мне дозволено сказать прямо, чтобы покончить с этим раз и навсегда, что эта повесть, то есть точная копия с нее, сделанная мною спустя много лет, есть та самая, которая следует ниже. Бедный Дуглас перед своей смертью – когда эта смерть была

уже близка – передал мне рукопись. А тогда он получил ее с почты на третий день и начал читать нашему притихшему кружку на четвертый день вечером, в том же самом холле и с огромным успехом. Дамы, которые собирались уехать, но говорили, что останутся, разумеется, не остались. Как было решено ранее, они уехали, по их словам, сгорая от любопытства, вызванного тем немногим, чем он уже успел раззадорить нас. Но маленький кружок его слушателей после этого только сплотился теснее, стал более избранным, объединив нас у камина в общем трепете.

Прежде всего мы узнали, что рукопись продолжает устный рассказ с того места, которое в известном смысле может считаться началом всей истории. Самое важное заключалось в том, что эта знакомая Дугласа, младшая дочь бедного сельского пастора, девушка двадцати лет, в страшном волнении приехала в Лондон, оставив свое первое место учительницы в школе, чтобы лично ответить на объявление, с автором которого она заранее списалась. Для окончательного решения вопроса она явилась в дом на Гарлей-стрит<sup>2</sup>, который

---

<sup>2</sup> Именно здесь, на Гарлей-стрит, где традиционно располагаются приемные частных консультирующих врачей, состоялась встреча «страшно взволнованной» гувернантки с ее будущим нанимателем, неким лондонским джентльменом. С этой встречи, для которой Джеймс скорее всего не случайно подыскал столь значимое место, началась цепь травматических эпизодов, оказавшихся критическими для психики героини. Затем последовали две бессонные ночи в Лондоне, полный нервного напряжения путь в Блай и первая ночь, проведенная в поместье без сна. Но самым главным потрясением, должно быть, стало то обстоятельство, что лондонский наниматель, о котором гувернантка, видимо, с тех пор размыш-

оказался громадным и внушительным, и там познакомилась со своим будущим патроном. Это был джентльмен в цвете лет, холостяк и истинный денди, словом, такая фигура, какую растерянная и взволнованная девушка из гэмпширского пастората могла увидеть разве только во сне или в старинном романе. Этот тип легко поддается зарисовке: слава богу, он у нас никогда не переводится. Джентльмен был очень красив, держался уверенно и свободно, был любезен и благожелателен. Он поразил ее своей галантностью и великолепием – это было неизбежно, но более всего ее пленило, а впоследствии очень помогло и придало ей мужества то, что он представил ей все дело чем-то вроде одолжения и милости с ее стороны, которые он готов принять с благодарностью. Она поняла, что он богат, но страшно расточителен, увидела его во всем блеске красоты, светскости, дорого стоящих привычек, очаровательных манер в обращении с женщинами. Его городской резиденцией был этот громадный особняк, набитый сувенирами путешествий и охотничьими трофеями; но он выразил желание, чтобы девушка немедленно отправилась в его загородный дом, старинную усадьбу его семьи в Эссексе.

---

ляля, переслал ей нераспечатанное письмо, сообщающее об отчислении Майлза из школы. Факт этот со всей очевидностью должен был указать ей на твердое намерение опекуна Майлза и Флоры не только ни во что не вмешиваться, но и не вступать в необходимую переписку по поводу, казалось бы, требующему его безотлагательного решения. Получив этот знак полнейшего пренебрежения, и без того обессиленная от нервного напряжения гувернантка, вероятно, терпит крушение всех романтических надежд.

После смерти их родителей в Индии ему пришлось сделаться опекуном двоих малолетних племянников, сына и дочери его младшего брата-офицера, которого он потерял два года тому назад. Эти двое детей стали тяжелой обузой для человека его положения, одинокого холостяка без необходимого в таких случаях опыта и без капли терпения. Ему было нелегко, и он, несомненно, совершил целый ряд ошибок, однако, всей душой жалея бедных птенцов, он сделал для них все, что мог, главное же – отправил их в свой второй дом, ибо детям, разумеется, больше подходила сельская местность, и поселил там с самыми лучшими людьми, каких только мог найти, пожертвовав даже личными своими слугами, и сам навещался к детям, когда мог, посмотреть, как им живется. Трудность заключалась в том, что у них не было других родственников, а у него все время уходило на личные дела. Он отдал им во владение усадьбу Блай, место тихое и здоровое, поставив во главе маленького хозяйства, ограничивавшегося, правда, одним только нижним этажом, миссис Гроуз, превосходную женщину, которая, как он был уверен, должна понравиться его госте; а прежде она была горничной его матери. Теперь она стала экономкой, временно присматривает за девочкой и, не имея собственных детей, очень ее любит. Там много и другой прислуги, но, разумеется, верховная власть будет принадлежать молодой особе, которая поедет туда гувернанткой. На каникулах ей придется смотреть и за мальчиком, которого отдали на один семестр в школу, хотя это и

рано, однако что же еще можно было сделать? – он должен со дня на день вернуться домой, ибо каникулы уже начинаются. Вначале обоих детей вела молодая женщина, которую они имели несчастье потерять. Она прекрасно справлялась с обоими до самой своей смерти. Это была в высшей степени уважаемая особа, – а после этого крайне прискорбного события не оставалось ничего другого, как отдать Майлса в школу. С тех пор миссис Гроуз присматривает как умеет за Флорой – по части манер и всего прочего, а кроме нее, в доме есть кухарка, горничная, скотница, старый пони, старый конюх и старый садовник – все публика весьма почтенная.

Когда Дуглас довел свое вступление до этого места, кто-то задал ему вопрос:

– А отчего же умерла прежняя гувернантка, не от избытка ли уважаемости?

Наш друг ответил, нимало не медля:

– Это вы узнаете в свое время. Я ничего не предвосхищаю.

– Простите, мне подумалось, что вы именно предвосхищаете.

– На месте ее преемницы я бы любопытствовал, не в самой ли должности таилась... – предположил я.

– Неизбежная опасность для жизни? – закончил Дуглас мою мысль. – Она пожелала это узнать – и узнала. Что именно она узнала, вы услышите завтра. А в то время будущее представлялось ей довольно мрачным. Она была молода, неопытна, нервна; воображение рисовало ей трудные обя-



занности, полное отсутствие общества, одиночество, поистине беспредельное. Она заколебалась – попросила два дня отсрочки, чтобы подумать и посоветоваться. Однако предложенная плата намного превышала ее скромную мерку, и при втором свидании она решилась, она приняла предложенное место. – И тут Дуглас сделал паузу, которая позволила мне вставить, в интересах всего общества:

– Мораль, конечно, такова, что великолепный молодой человек пустил в ход оболъщение. И она не устояла.

Дуглас поднялся с места и, так же, как вчера вечером, подойдя к камину, толкнул ногой полено и с минуту постоял спиной к нам.

– Она виделась с ним всего два раза.

– Да, но в этом-то и была вся прелесть ее увлечения!

И тут Дуглас, несколько удивив меня, повернулся ко мне.

– Да, в этом-то и была вся прелесть. Нашлись и другие, которые перед ним устояли, – продолжал Дуглас. – Милорд откровенно рассказал ей о главном препятствии: для нескольких кандидаток его условия оказались неприемлемыми. Они почему-то просто боялись. Для них это звучало странно, было непонятно, и больше всего из-за главного условия.

– Которое заключалось?...

– В том, что она никогда, ни под каким видом не должна беспокоить милорда: ни о чем не просить; не жаловаться, ни в коем случае не писать ему – решать все вопросы самостоятельно, получать все деньги от его поверенного, взять на се-

бя все, а его оставить в покое. Она обещала все это и потом призналась мне, что, когда он ощутил себя наконец-то свободным, то, вне себя от радости, на минуту задержал ее руку в своей, благодаря ее за эту жертву, и она почувствовала себя так, словно уже получила награду.

– Но разве только это было ее наградой? – спросила одна из дам.

– Больше она никогда его не видела.

– О! – воскликнула дама; и так как наш друг немедленно покинул нас, то это и было единственным словом, относившимся к теме нашей беседы, до тех пор, пока на следующий вечер, в том же углу перед камином, он, сидя в самом удобном кресле, не развернул перед нами тоненький старомодный альбом с золотым обрезом, в выцветшем красном переплете. Чтение заняло не один вечер, а несколько, и в первый вечер та же дама задала еще один вопрос:

– Какое у вас заглавие?

– У меня нет заглавия.

– Зато у меня оно есть, – сказал я.

Но Дуглас, не слушая меня, уже начал читать с той прекрасной ясностью дикции, которая словно передавала слуху изящество авторского почерка.

# I

Я вспоминаю все начало этой истории как ряд взлетов и падений, как легкое качание между верным и ошибочным. В Лондоне, согласившись на его предложение, я провела, во всяком случае, два очень тяжелых дня – то впадая в сомнение, то уверяясь, что я действительно совершила ошибку. В таком состоянии духа я провела и долгие часы в тряском почтовом дилижансе, который довез меня до станции, где меня должна была встретить коляска из имения. Как мне сообщили, экипаж был уже выслан, и к концу июньского дня я увидела поджидавшую меня удобную коляску. Проезжая в вечерний час в этот чудесный день по таким местам, где вся прелесть лета, казалось, дружески приветствовала меня, я снова воспрянула духом и, как только мы свернули в аллею, вздохнула с облегчением, что было, вероятно, лишним доказательством того, как сильно я приуныла. Мне кажется, я ожидала или боялась встретить нечто крайне мрачное, и то, что открылось передо мною, было радостной неожиданностью. Я вспоминаю, как самое приятное впечатление, широкий, светлый фасад, открытые окна, новые занавеси и двух горничных, выглядывавших из окон; я вспоминаю лужайку с яркими цветами, хруст колес по гравию и сомкнувшиеся кроны деревьев, над которыми в золотистом небе с криком кружились грачи. Картина была величественная, чем

она сильно отличалась от скудости моего родного дома, – и почти в ту же минуту, держа за руку маленькую девочку, в дверях показалась солидная особа, присевшая передо мною так почтительно, словно я была сама хозяйка дома или знатная гостья. На Гарлей-стрит я получила далеко не столь выгодное представление об усадьбе, и тут, сколько помнится, ее владелец еще более возвысился в моих глазах, и я подумала, что мое будущее намного превосходит все его обещания.

В тот день я больше не испытывала уныния, ибо в течение следующих часов меня захватило и увлекло знакомство с младшей моей воспитанницей. Девочка, сопровождавшая миссис Гроуз, с первого взгляда показалась мне таким очаровательным существом, что иметь с ней дело представлялось мне великим счастьем. Мне никогда еще не доводилось видеть ребенка красивее, и впоследствии я удивлялась, почему мой патрон не рассказал мне о ней побольше. Я плохо спала в ту ночь, – я была слишком взволнована; и это радостное волнение удивляло меня и, как я вспоминаю, неотступно владело мною, усиливая впечатление от щедрости и великодушия, с какими я была встречена. Большая, внушительная комната, одна из лучших в доме, широкая парадная кровать, узорные драпировки, высокие зеркала, где впервые в жизни я могла видеть себя с ног до головы, – все это поражало меня, так же как и необычайная прелесть моей маленькой воспитанницы, так же как и все то, с чем мне впервые пришлось столкнуться.

С первой же минуты мне пришлось столкнуться с мыслью о том, как сложатся мои отношения с миссис Гроуз, с мыслью, которая, боюсь, угнетала меня еще дорогой, в почтовой карете. Единственное, что при первых наблюдениях могло заставить меня держаться настороже, было то обстоятельство, что миссис Гроуз до крайности обрадовалась мне. Я в первые же полчаса это заметила: она до такой степени обрадовалась, – дородная, простодушная, некрасивая, опрятная, здоровая женщина, – что даже остерегалась слишком проявлять свою радость. Тогда я даже слегка удивилась, для чего бы ей это скрывать, и вместе с раздумьем и подозрениями это могло, разумеется, встревожить меня.

Но для меня служило утешением, что ничто тревожное не могло быть связано с таким воплощением счастья, как сияющий облик моей девочки, ангельская красота которой, вероятно, более всего другого вызывала беспокойство, заставившее меня до утра несколько раз подниматься и бродить по комнате, пытаясь осмыслить всю картину в настоящем и будущем; следить в открытое окно за слабыми проблесками рассвета, разглядывать те части дома, которые мне были видны в окно, и, по мере того как рассеивались тени и начинали щебетать первые птицы, прислушиваться, не повторится ли тот или иной звук, менее естественный, который мне почудился, не вне дома, а внутри. Была минута, когда мне показалось, будто я услышала далекий и слабый детский крик; была и другая, когда я уже наяву, с полным со-

знанием, вздрогнула, заслышав легкие шаги в коридоре, перед моей дверью. Но все эти фантазии были слишком зыбки и потому сразу отвергнуты и отброшены мною, и только в свете или, лучше сказать, во мраке иных последующих событий они вспоминаются мне теперь. Смотреть за маленькой Флорой, учить, "формировать", воспитывать ее слишком очевидно могло сделать мою жизнь счастливой и содержательной. В покоях нижнего этажа между нами было условлено, что после первой ночи она, разумеется, будет спать со мной в моей комнате, и ее маленькую белую кроватку перенесли ко мне в спальню. Вся забота о Флоре отныне переходила ко мне, и только на этот последний раз она осталась с миссис Гроуз единственно потому, что мы приняли во внимание то, что я, несомненно, чужая Флоре, и подумали о природной робости девочки. Вопреки этой ее робости, в которой она призналась мне и миссис Гроуз откровенно и храбро, без всякого смущения и неловкости, с глубокой и ясной кротостью рафаэлевского Младенца, позволяя нам судить ее поступки и выносить решения, – вопреки всему этому я предчувствовала, что она скоро полюбит меня.

Вот почему я успела привязаться и к самой миссис Гроуз – я видела, как радуется ей то, что я люблю и восхищаюсь моей воспитанницей, сидя с ней за ужином при четырех высоких свечах, – а Флора, между этими свечами, в нагруднике, на высоком стуле, весело смотрит на меня из-за своей чашки с молоком и хлебом. Вполне естественно, о многих вещах

мы могли говорить при Флоре только темными и окольными намеками, обмениваясь изумленными и радостными взглядами.

– А мальчик? Он похож на нее? Тоже такой необыкновенный?

Ребенку льстить не станешь.

– Ах, мисс, очень даже необыкновенный. – И она остановилась с тарелкой в руках, просияв улыбкой на нашу маленькую подружку, а та переводила взгляд с нее на меня. – Если уж вам эта понравилась!

– Да, ну так что же?

– А в нашего маленького джентльмена вы прямо влюбитесь!

– Мне кажется, для того я и приехала. Я ведь довольно легко увлекаюсь. В Лондоне я тоже увлеклась!

До сих пор я помню широкое лицо миссис Гроуз, когда она поняла, о чем я говорю.

– На Гарлей-стрит?

– Да, там.

– Что ж, мисс, не вы первая, не вы и последняя.

– Ах, у меня нет претензий быть единственной. – Я смогла даже улыбнуться. – Во всяком случае, мой второй воспитанник, насколько я поняла, приезжает завтра?

– Не завтра, в пятницу, мисс. Он приедет с дилижансом, как и вы, мисс, за ним присмотрит кондуктор, и встретить его должна та же коляска.

Я поспешила ответить ей, что именно поэтому будет приличней, приятней и дружелюбней, если я сама поеду к прибытию почтового дилижанса и, вдвоем с его маленькой сестрицей, встречу мальчика там, а миссис Гроуз подхватила эту мысль с такой готовностью, что я восприняла ее поведение как утешительный залог того, – слава богу, она осталась мне верна! – что мы с ней всегда и во всем будем заодно. О, она радовалась, что я тут!

Мои чувства на следующий день, мне думается, по справедливости можно назвать реакцией после первых радостей приезда: вероятно, самое большее, это была лишь легкая угнетенность, порожденная во мне более полным представлением о масштабах моих новых обязанностей и нового окружения, после того как я рассмотрела их и измерила. К таким размерам и к такому объему я не была подготовлена, хотя встретила их довольно бодро, слегка пугаясь и вместе с тем слегка гордясь. Уроки, разумеется, ввиду стольких волнений, пришлось отложить: я рассудила, что первая моя обязанность привлечь к себе ребенка самыми мягкими средствами, позволив ему сначала привыкнуть. Я провела с девочкой весь день на воздухе и, к великому удовольствию Флоры, обещала ей, что никто другой, кроме нее, не будет показывать мне усадьбу. Она показывала ее мне шаг за шагом, комнату за комнатой и секрет за секретом, болтая по-детски забавно и мило, и в результате мы с ней уже через полчаса сделались близкими друзьями. Хотя девочка была



очень мала, меня поразило, во время нашего обхода пустых покоев и мрачных коридоров, на головоломных лестницах, где я невольно останавливалась, и даже на вершине старой башни с бойницами, где у меня закружилась голова, с какой уверенностью и смелостью она шла, болтая об утренних уроках музыки, стремясь рассказывать мне гораздо более, чем спрашивать меня, и ее оживление звучало в воздухе и вело меня вперед. Я не видела больше усадьбы Блай с тех самых пор, как покинула ее, и думаю, что теперь, на мой более зрелый и более опытный взгляд, она показалась бы сильно сократившейся. Но когда на крутых поворотах передо мной мелькали золотые волосы и голубое платье моей маленькой проводницы и по переходам разносился топот ее маленьких ножек, я видела перед собой волшебный романтический замок, обитаемый светлым эльфом; весь колорит, все краски этого замка, казалось мне, были заимствованы из сказок и легенд. И в самом деле, уж не задремала ли я над книгой волшебных сказок, не замечталась ли над ней? Нет, это был только большой старинный дом, некрасивый, но удобный, воплощавший некоторые черты более древнего здания, наполовину перестроенного и наполовину использованного, где, как я воображала, мы чуть не затерялись, словно горстка пассажиров на большом дрейфующем корабле. И, самое странное, – у руля была я!

## II

Это стало мне ясно, когда двумя днями позже я ехала вместе с Флорой встречать «нашего маленького джентльмена», как назвала его миссис Гроуз; и тем яснее, что меня глубоко взволновал случай, произошедший на второй вечер после моего приезда. Первый день, как я уже говорила, в общем скорее успокоил меня, но мне пришлось еще увидеть, как он закончился мрачным предзнаменованием. Вечером в почтовой сумке, – а почта пришла поздно, – оказалось письмо для меня, написанное рукой моего патрона; оно состояло всего из нескольких слов и включало другое, адресованное ему самому, с еще не сломанной печатью. «Это, кажется, письмо от начальника школы, а он ужасно скучный тип. Прочтите, пожалуйста, и договоритесь с ним; но смотрите, не пишите мне ни слова, я уезжаю!» Я сломала печать с усилием, тем большим, что очень долго не могла на это решиться, наконец взяла невскрытое послание к себе в комнату и принялась за него только перед сном. А лучше было бы не трогать его до утра – оно принесло мне вторую бессонную ночь. На следующий день я была в полном отчаянии, не зная, с кем посоветоваться, и под конец оно одолело меня настолько, что я решила открыться хоть миссис Гроуз.

– Что это значит? Мальчика исключили из школы.

Она бросила на меня взгляд, который мне запомнился

сразу, потом, словно спохватившись, сделала попытку отвести глаза в сторону.

– Но ведь их всех?...

– Распускают но домам – да. Но только на каникулы. А Майлса просят не возвращаться совсем.

Она заметно покраснела под моим пристальным взглядом.

– Не хотят брать его обратно?

– Решительно отказываются.

Она стояла отвернувшись, но тут подняла глаза, и я увидела, что они полны слез.

– Что же такое он сделал?

Я сначала колебалась, потом решила, что лучше всего просто отдать ей письмо в руки, однако это только заставило ее, не взяв письма, убрать руки за спину. Она грустно покачала головой.

– Не про меня писано, мисс.

Моя советчица не умела читать! Я поморщилась, смягчила, как могла, свой промах и развернула письмо, чтобы прочитать его миссис Гроуз, но, не решившись, снова сложила его и сунула в карман.

– Он и правда плохо себя ведет? – Слезы все стояли в ее глазах. – Эти господа так говорят?

– В подробности они не вдаются. Они только выразили сожаление, что не имеют возможности держать его в школе. Это может значить лишь одно...

Миссис Гроуз слушала в немом волнении; она не осмелилась спросить меня, что именно это может значить, и потому, немного помолчав, я продолжала, хотя бы для того, чтобы уяснить дело самой себе с помощью присутствия миссис Гроуз.

– Что он портит других детей.

Тут она вся вспыхнула, с той быстротой перехода, какая свойственна простым людям:

– Майлс! Это он-то портит?!

На меня хлынуло такое море доверия, что, хотя я еще не видела ребенка, самые мои страхи показались мне сущей нелепостью. Чтобы моя приятельница поняла меня лучше, чтобы ближе подойти к ней, я откликнулась на ее слова саркастическим тоном:

– Своих сверстников, бедных невинных крошек!

– Ужасы какие! – воскликнула миссис Гроуз. – Ну можно ли говорить такие бессердечные слова! Ведь ему и десяти лет еще нет!

– Да, да. Это просто невысказано.

Она явно обрадовалась такому суждению.

– Вы сначала поглядите на него, мисс. А потом уж – поверите!

Мне нетерпеливо захотелось сию минуту его увидеть: так зарождалось любопытство, которое в ближайшие часы должно было углубиться до страдания. Насколько я могла судить, миссис Гроуз понимала, какое впечатление она произвела, и

твердо направляла меня к своей цели.

– Еще бы вы и про маленькую леди тому же поверили! Вы только взгляните на нее, господь с ней!

Я обернулась и увидела, что Флора, которую за десять минут до того я оставила в детской перед чистым листом бумаги, карандашом и прописью с хорошенькими круглыми О, теперь появилась перед нами в открытых дверях. Она по-своему, по-детски, выражала крайнюю отрешенность от надоедливых уроков, однако глядела на меня с тем светлым детским выражением, которое говорило, что одна только зарождающаяся привязанность к моей особе заставляет ее неотступно ходить за мной по пятам. Мне же не нужно было ничего другого, чтобы почувствовать всю силу сравнения миссис Гроуз, и, заключив в объятия мою воспитанницу, я покрыла ее личико поцелуями, в которых слышался отзвук рыданий, искупающих мою вину.

Тем не менее весь остальной день я искала случая подойти к моей подруге, особенно потому, что к вечеру мне начало казаться, будто она меня избегает. Помню, что я перехватила ее на лестнице, мы вместе сошли вниз и у подножия лестницы я остановила ее, положив руку ей на плечо.

– То, что вы сказали мне нынче в полдень, я сочту заявлением, что вы никогда не знали за мальчиком ничего худого.

Миссис Гроуз откинула голову назад; на сей раз она явно и очень старательно играла какую-то роль:

– Чтоб я никогда ничего такого не знала, нет, за это не

поручусь!

Я снова заволновалась:

– Так, значит, вы знали?...

– Да, да, мисс, слава богу!

Подумав, я согласилась с чей:

– Вы хотите сказать, что если мальчик никогда?...

– Тогда это не мальчик, по-моему!

Я обняла ее крепче.

– Вам больше правится, когда мальчики склонны проказничать? – И чтобы не отстать от нее, я живо подхватила: – И мне тоже! Но не до такой же степени, чтобы развращать других...

– Развращать? – Мое громкое слово не дошло до нее.

Я объяснила:

– Портить.

Она глядела на меня пристально, стараясь понять смысл моих слов, но они вызвали у нее неуместный и непонятный смех.

– Вы боитесь, как бы он и вас не испортил?

Она задала этот вопрос с таким чудесным, таким откровенным юмором, что и я тоже рассмеялась, не желая отставать от нее, смехом, звучавшим не слишком умно, и на время отступилась с расспросами из страха показаться смешной.

Но на следующий день, перед тем как нам подали коляску, я попыталась разведать о другом.

– А какая была та особа, что жила здесь до меня?

– Бывшая гувернантка? Она тоже была молодая и хорошенькая... почти такая же молоденькая и почти такая же хорошенькая, как вы, мисс.

– Ах, в таком случае надеюсь, что ее молодость и красота помогли ей! – помню, нечаянно вырвалось у меня. – Кажется, он любит нас молодыми и красивыми!

– Ох, так оно и было, – подтвердила миссис Гроуз. – Вот за это он всех и любил! – Но, едва договорив, она тут же спохватилась: – Я хочу сказать, мисс, что это у него, у милорда, такая привычка.

Я поразилась.

– А о ком же вы говорили сначала?

Ее взгляд не выразил ничего, но она покраснела.

– Да о нем же.

– О милорде?

– А о ком же еще?

Ничего другого тут не могло быть, и в следующую минуту впечатление, будто она нечаянно проговорила и сказала больше, чем хотела, прошло; я только спросила о том, что мне хотелось узнать:

– А она замечала за мальчиком что-нибудь?...

– Что-нибудь дурное? Она мне никогда ничего не говорила.

Я почувствовала угрызения совести, но преодолела их.

– Была она заботлива... внимательна?

Миссис Гроуз задумалась, словно ей хотелось ответить

добросовестно.

– В некоторых отношениях – да.

– Но не во всем?

Она опять задумалась.

– Что же вам сказать, мисс, – ее больше нет. Сплетничать я не буду.

– Я очень хорошо понимаю вас, – поспешила я ответить, но через минуту решила продолжать вопреки этой оговорке:

– Она здесь и умерла?

– Нет... она уехала.

Не знаю, что именно в краткости ответов миссис Гроуз показалось мне двусмысленным.

– Уехала умирать?

Миссис Гроуз глядела в окно, но мне казалось, что я все же вправе узнать, какого поведения ожидают от молодой особы, служащей в усадьбе Блай.

– Вы хотите сказать, что она захворала и уехала домой?

– У нас в доме она не хворала, ничего такого не было заметно. Она уехала в конце года домой отдохнуть ненадолго, и сама так говорила, и уж, конечно, имела право отдохнуть, прослужив столько времени. У нас была тогда одна молодая женщина – бывшая нянька, которая осталась жить здесь, – хорошая, ловкая девушка, – и на это время мы ее приставили к детям. А наша мисс больше не вернулась, и, как раз когда мы ее поджидали, я узнала от милорда, что она умерла.

Я задумалась над ее словами.



– Но от чего же?

– Он мне не сказал! Извините, мисс, мне надо идти работать.

### III

То, что она вдруг повернулась ко мне спиной, к счастью для меня, озабоченной всеми этими мыслями, оказалось не настолько обидным, чтобы препятствовать все возраставшему между нами чувству взаимного уважения. После того как я привезла домой маленького Майлса, мы с ней встретились еще дружелюбнее, несмотря на мою полную растерянность и взволнованность: чтобы такого ребенка, какой сейчас предстал передо мною, можно было подвергнуть отлучению – нет, я готова была назвать это чудовищным. Я немного опоздала на место свидания, и, когда он стоял перед дверями гостиницы, где высадил его почтовый дилижанс, в задумчивости поджидая меня, я почувствовала, что вижу его всего, извне и изнутри, в полном блеске и свежести, в том жизнеутверждающем благоухании чистоты, в каком я с первой же минуты увидела и его сестру. Он был невероятно хорош собой, а миссис Гроуз еще подчеркнула это: его появлением было сметено все, кроме бурной нежности к нему. Я раз навсегда привязалась к мальчику всем сердцем. За то божественное, чего я потом не могла найти в равной степени ни в одном ребенке; за то не передаваемое ничем выражение, что в этом мире он не знает ничего, кроме любви. Невозможно было бы носить свою дурную славу с большей кротостью и невинностью, и когда я вернулась вместе с ним

в Блай, то чувствовала себя озадаченной, если не оскорбленной, при мысли о том, что ужасное письмо лежит у меня в комнате под замком, в комод. Как только я смогла перемолвиться словом с миссис Гроуз, я прямо сказала ей, что это возмутительно и нелепо.

Она сразу поняла меня.

– Вы про это жестокое обвинение?

– Да... ему ни минуты не веришь. Милая моя, вы только взгляните на мальчика!

Она улыбнулась на такую претензию – будто бы я первая открыла его обаяние.

– Я только и делаю, что гляжу на него. Ну, что же вы теперь ответите, мисс? – тут же прибавила она.

– На это письмо? – Я уже решила. – Ничего не отвечу.

– А его дяде?

Я упорствовала:

– И дяде ничего.

– А самому мальчику?

Я ее удивила:

– И мальчику ничего не скажу.

Она решительно утерла губы фартуком.

– Тогда я буду стоять за вас. Вдвоем с вами мы выдержим.

– Вдвоем мы с вами выдержим! – горячо откликнулась я, подавая руку миссис Гроуз, как бы для того, чтобы скрепить нашу клятву.

С минуту она держала мою руку в своей, потом еще раз

утерлась фартуком.

– Вы не обидитесь, мисс, если я себе позволю...

– Поцеловать меня? Нет, не обижусь.

Я поцеловала эту добрую женщину, и, когда мы обнялись как сестры, я почувствовала себя еще более разгневанной и еще более твердой в своем решении,

Так, во всяком случае, было в то время – время до того полное событий, что теперь, когда я вспоминаю, как стремительно оно уходило, мне становится понятно, сколько надобно искусства, чтобы отчетливо изложить нарастающий ход событий. На что я оглядываюсь с изумлением, так это на ту ситуацию, с которой я мирилась. Я приняла решение довести дело до конца совместно с моей компаньонкой и, по-видимому, оказалась во власти каких-то чар, воображая, что преодолеть все, даже очень отдаленно связанное с этим непосильным подвигом, будет не слишком трудно. Высокая волна жалости и любви подняла меня на гребень. В моей неискушенности, в моем смятении и, быть может, в моей самоуверенности мне казалось очень простой задачей поладить с мальчиком, воспитание которого для общества только-только началось. Не могу даже припомнить сейчас, какие планы я строила, чтобы закончить каникулы и возобновить с ним занятия. В самом деле, нам всем казалось, что этим прелестным летом ему полагалось брать у меня уроки, но теперь я понимаю, что несколько недель эти уроки брала я. Я узнала кое-что такое вначале, во всяком случае, чему не обучали

в моей мелкой и душевной жизни: научилась развлекаться и даже развлекать и не думать о завтрашнем дне. Впервые я поняла, что такое простор, воздух и свобода, вся музыка лета и вся тайна природы. А кроме того, была и награда, и награда эта была сладка. О, это была ловушка – непредумышленная, но хитрая, – ловушка для моей фантазии, для моей деликатности, быть может, для моего тщеславия; для всего, что было во мне самым экспансивным, самым возбудимым. Всего нагляднее будет сказать, что я забыла об осторожности. С детьми было так мало хлопот, – они были так необычайно кротки. Бывало, я пускалась воображать – но даже и это смутно и бессвязно, – как грубая будущность (ибо всякая будущность груба!) изомнет их и может им повредить. Они цвели здоровьем и счастьем; и все же у меня на руках были как будто два маленьких гранда, два принца крови, которых все, как полагается, должно было защищать и ограждать, и единственное подходящее место для них, как мне казалось, было нечто вроде королевского, поистине романтического парка или обширного сада. Возможно, разумеется, что главным тут было очарование тишины – молчания, в котором что-то созревает или подкрадывается. Внезапная перемена была действительно похожа на прыжок зверя.

Первые недели дни тянулись долго; нередко, в самую лучшую погоду, они давали мне то, что я называла своим собственным часом; когда для моих воспитанников уже приходило время чая и дневного сна, я позволяла себе маленькую

передышку в одиночестве, перед тем как ретироваться окончательно. Как ни нравились мне мои товарищи, этот час в распорядке дня я любила больше всего. Я любила его больше всего тогда, когда дневной свет уже угасал или, лучше сказать, день медлил и в румянном небе последние зовы последних птичек звучали со старых деревьев, – тогда я могла обойти весь парк, наслаждаясь красотой и благородством поместья, с каким-то чувством собственности, что меня забавляло. В эти минуты было радостью чувствовать себя спокойной и правой; а также, конечно, думать, что благодаря моей скромности, моему здравому смыслу и вообще высокому чувству такта и приличия я доставляю удовольствие – если б он хоть когда-нибудь подумал об этом! – человеку, настояниям которого я подчинилась. Я делала как раз то, на что он горячо надеялся и чего прямо просил у меня, а то, что я могла это сделать, в конце концов принесло мне даже больше радости, чем я ожидала. Словом, я воображала себя весьма замечательной молодой особой и утешалась мыслью, что когда-нибудь это станет более широко известно. Что ж, мне и впрямь нужно было быть исключительной женщиной, чтобы оказать сопротивление тому исключительному, что вскоре впервые дало знать о себе.

Это случилось после полудня, как раз посередине моего часа; детей уложили, я вышла на прогулку. Во время этих скитаний одна из моих мыслей была, что поскольку я теперь ничего не боюсь, то было бы очаровательно встретить кого-то,

словно в каком-нибудь увлекательном романе. Этот кто-то появился бы на повороте дорожки, остановился бы передо мною и благосклонно улыбнулся. Большого я и не просила: только чтоб он знал; а единственным путем увериться, что он знает, было увидеть его улыбку и мягкий свет, озаряющий его красивое лицо. Оно так и стояло передо мною – я хочу сказать, его лицо, – когда, в первом из этих случаев, в конце долгого июньского дня, я остановилась как вкопанная на опушке рощи, откуда виден был дом. Остановило меня на месте – и с потрясением большим, чем допустимо для какого угодно видения, – чувство, что моя фантазия мгновенно обратилась в реальность. Там стоял он! Но высоко, за лужайкой, на самом верху той башни, куда меня водила маленькая Флора в первое утро после моего приезда. Эта башня была одной из двух башен – квадратных, неуклюжих, зубчатых сооружений, которые почему-то различались друг от друга как новая и старая, хотя, на мой взгляд, разницы не было почти никакой. Они стояли на противоположных концах дома и в архитектурном отношении были просто нелепы; правда, в известной мере это искупалось тем, что они совсем отделялись от здания и были не слишком высоки, относясь в своей пряничной древности ко времени, возрождавшему романтику, которая стала уже почтенным прошлым. Я любовалась ими, фантазировала о них, ибо все мы могли до некоторой степени проникнуться их величием, особенно в сумерки, когда их зубцы казались такими внушительными; однако же не

на таком возвышении подобало явиться фигуре, которую я так часто вызывала в своих мыслях.

Эта фигура, сколько помню, в ясных сумерках произвела на меня сильное впечатление, и у меня дважды перехватило дыхание. Меня потрясло то, что я поняла, как обмануло меня это первое впечатление: человек, с которым встретился мой взгляд, был не тот, кого мне хотелось бы встретить. Так пришло ко мне виденье, мираж, о котором, спустя столько лет, я даже не надеюсь дать сколько-нибудь живое представление. Всякого незнакомого мужчину, встреченного в уединенном месте, молодой женщине, получившей домашнее воспитание, положено пугаться, а фигура, представшая передо мною (через несколько секунд я убедилась в этом), была непохожа ни на кого из знакомых мне людей, тем менее на образ, всегда витавший передо мною. Я не видела этого человека на Гарлей-стрит, – я нигде его не видела. Более того, самое место невероятнейшим образом вмиг, и именно в силу его появления, превратилось в пустыню. Сейчас, когда я это пишу, чувство той минуты возвращается ко мне с полной силой. Для меня, когда я поняла в чем дело, да и поняла ли, все вокруг было как будто поражено смертью. Сейчас, когда я это пишу, я снова слышу то напряженное молчание, к котором потонули вес вечерние звуки. Грачи перестали кричать в вечернем небе, и этот благосклонный час утратил в ту минуту все свои голоса. Но другой перемены в природе не было, кроме разве того, что я видела все вокруг с обостренной зор-



костью. Золото все еще разливалось в небе, воздух был прозрачен, и мужчина, который глядел на меня поверх башенных зубцов, был виден четко, словно картина в раме. Вот что с необычайной быстротой подумала я о том человеке, которым он мог бы быть и которым все же не был. Мы довольно долго стояли друг против друга на расстоянии – достаточно долго для того, чтобы я могла задать себе вопрос, кто же он такой, и, не будучи в состоянии на него ответить, прийти в изумление, которое через несколько секунд еще усилилось.

Важный вопрос, или один из многих вопросов, возникших впоследствии, сколько все это длилось. Думайте, что хотите, но мое видение длилось, пока я ломала голову над десятком возможностей, как мне встретиться с этим человеком, который живет в том же доме и, главное, может быть, давно живет, а я о нем ничего не знаю. Все это длилось, пока я переживала обиду: мне казалось, будто моя должность требует, чтобы не было ни этого моего незнания, ни этого человека. Так продолжалось все время, пока незнакомец – и, сколько помнится, была какая-то странная вольность, что-то фамильярное в том, что он был без шляпы, – пронизывал меня взглядом со своей башни при меркнувшем свете дня, именно с тем же вопросительным и испытующим выражением, какое внушал мне его вид. Мы были слишком далеко друг от друга, чтобы подать голос, но, если б расстояние было короче, какой-нибудь окрик, нарушающий молчание, был бы верным следствием нашего прямого и пристального

взгляда. Он стоял на одном из углов башни, самом отдаленном от дома, стоял очень прямо, Что поразило меня, полужив на перила обе руки. Таким я видела его, как вижу сейчас буквы, наносимые мной на эту страницу; потом, ровно через минуту, он переменял место и медленно прошел в противоположный угол площадки, не отрывая от меня взгляда. Да, я остро ощущала, что в продолжении этого перехода он все время не сводит с меня глаз, и даже сейчас я вижу, как он переносит руку с одного зубца на другой. Он постоял на другом углу, но не так долго, и даже когда он повернулся, он все также упорно смотрел на меня. Он повернулся – и это все, что я помню.

## IV

Нельзя сказать, что я не стала ждать дальнейшего, ибо я была пригвождена к месту глубоким потрясением. Неужели в усадьбе Блай имеется своя тайна – какое-нибудь «Удольфское таинство» или полоумный родственник, которого держат в заточении<sup>3</sup>, не вызывая, однако, ничьих подозрений? Не могу сказать, долго ли я обдумывала это, долго ли со смешанным чувством любопытства и страха оставалась на месте встречи; помню только, что, когда я вернулась в дом, было

---

<sup>3</sup> Потрясенная встречей с незнакомцем гувернантка размышляет над возможными загадками усадьбы Блай. Очевидно, она ищет опору в известных английских литературных произведениях, предлагающих разнообразные ориентиры в ее непростой ситуации, как, например, в знаменитом «готическом» романе Анны Радклиф (1764 – 1823) «Удольфские тайны» (*The Mysteries of Udolpho*, 1794), в котором английская писательница виртуозно применила многообразные эффекты для нагнетания невероятных кошмаров, но в конечном счете давая каждому ужасу совершенно рациональное объяснение: все сверхъестественные явления оказываются делом рук человеческих. Героиню Радклиф обманом увозят в отдаленный замок в Апеннинах, где ее жизнь и честь оказываются под угрозой. Столь же однозначно объясняются и ночные кошмары, которые описаны в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (*Jane Eyre*, 1847), также вспоминаемом джеймсовской гувернанткой. Джейн Эйр живет в уединенной усадьбе, опекая ребенка-сироту и общаясь в основном с экономкой. Разгадка тщательно скрываемой тайны поместья Торнфилд-Холл – содержащаяся в заточении жена мистера Рочестера, которая страдает серьезным психическим расстройством. Противопоставляя в одной фразе «Удольфские тайны» и «Джейн Эйр», Джеймс задает нам интертекстуальные ориентиры, указывающие на два возможных сюжетных поворота – в классическом «готическом» или же в психиатрическом духе.

уже совсем темно. Волнение в этот промежуток времени, конечно, владело мной и подгоняло меня, и я прошла не меньше трех миль, кружа вокруг того места. Но впоследствии мне предстоял еще более сильный удар, так что эта заря тревоги вызвала еще сравнительно человеческую дрожь. Действительно, самое странное в этой дрожи – странное, сколь и все остальное, – было то, что стало мне ясно при встрече в холле с миссис Гроуз. Эта картина возвращается ко мне постоянно: впечатление, которое произвел на меня белый, обшитый панелями просторный холл, с портретами и красным ковром, ярко освещенный лампами, и добродушно-изумленный взгляд моей подруги, немедленно сказавший мне, что она меня искала. Я поняла, что при ее простодушии она не имеет понятия, что за историю я собираюсь ей рассказать. До этого я не подозревала, насколько ее милое лицо может подбодрить меня, и, странным образом, я измерила значение того, что видела, только тогда, когда решила не говорить ей ничего. Вряд ли что-либо другое во всем этом кажется мне таким странным, как то, что настоящий страх начался для меня со стремления пощадить мою подругу. И потому тут же в уютном холле, чувствуя на себе ее взгляд, по причине, которую я тогда не могла бы выразить словами, я мгновенно перестроилась внутренне – выдумала какой-то предлог для опоздания и, сказав что-то о красоте вечера, сильной росе и промокших ногах, поскорее ушла к себе в комнату.

Там – совсем другое: там, в течение долгих дней, все бы-

ло так странно! Изо дня в день бывали часы – или, по крайней мере, минуты, которые мне удавалось урвать от моих занятий с детьми, – когда мне приходилось запираяться, чтобы подумать. Нельзя сказать, чтобы я нервничала сверх меры, скорее, я боялась до крайности, что нервы не выдержат, ибо правда, которую мне следовало обдумать, была, несомненно, той правдой о моем видении, какой я ни от кого не смогла бы добиться, о том незнакомце, с которым я была, мне казалось, неразрывно и необъяснимо связана. Мне понадобилось очень немного времени, чтобы понять, как надо расследовать это событие, не расспрашивая никого и незаметно для других, не вызывая никаких волнений среди домашних. Потрясение, испытанное мною, должно быть, обострило все мои чувства: через три дня, в результате лишь более пристального внимания, я знала наверное, что не слуги меня дурачили и что я не была жертвой какой-либо шутки. Всем окружающим было известно что-то, о чем я и не подозревала. Напрашивался только один здравый вывод: кто-то позволил себе довольно грубую выходку. Вот что я повторяла каждый раз, ныряя в свою комнату и запираясь на ключ. Все мы вместе стали жертвой непрошеного вторжения: какой-то бесцеремонный путешественник, интересующийся старинными домами, прокрался в парк никем не замеченный, полюбовался видом с самого лучшего места и выбрался вон, так же как пришел. Если он посмотрел на меня таким жестким и наглым взглядом, то это только его бесцеремонность.

В конце концов хорошо и то, что мы, наверное, никогда больше его не увидим.

Допускаю, что это было не совсем ладно, и я могла бы составить себе более правильное суждение на этот счет, но самым важным для меня была моя упоительная работа, и рядом с ней ничто не имело значения. Моя упоительная работа – это моя жизнь с Майлсом и Флорой, и ничем другим не могла она полюбиться мне больше, как чувством, что я могу уйти в нее от всякой беды. Привлекательность моих маленьких питомцев была постоянной радостью, заставлявшей меня каждый раз наново изумляться напрасности моих первоначальных страхов и отвращению перед серой прозой моей должности. Казалось, не должно было быть ни серой прозы, ни тяжелого однообразного труда, так как же не назвать упоительной такую работу, которая представлялась мне каждодневной красотой? Все это была романтика детской и поэзия классной. Разумеется, я не хочу сказать, что мы заучивали только стихи и сказки: я просто не могу иначе выразить тот род интереса, который мне внушали мои питомцы. Можно ли это описать иначе, как сказав, что, вместо того чтобы привыкнуть к ним, а это вовсе не чудо для гувернантки, – призываю в свидетельницы всех моих сестер! – я постоянно делала все новые открытия. Но, несомненно, был один путь, где эти исследования сразу прекращались: глубокий мрак по-прежнему покрывал все, что касалось поведения мальчика в школе. Как я заметила, мне быстро удалось

овладеть собой и без боли смотреть в лицо этой тайне. Быть может, ближе к правде будет даже сказать, что он сам – не говоря ни единого слова – разъяснил ее, обратив все это обвинение в нелепость. Мой вывод процвел истинно розовым цветом, подобно невинности Майлса: мальчик был слишком чист и ясен для отвратительного школьного мирка и поплатился за это. Я напряженно размышляла о том, что перевес в различии характеров и превосходство в положении всегда на стороне большинства – куда входят и тупые, низкие директора школ – и толкает это большинство к жестокой расплате.

Оба ребенка отличались кротостью, которая (это был их единственный недостаток, но и он не делал Майлса разиней) – как бы это выразиться? – придавала им нечто безличное и совершенно ненаказуемое. Они были похожи на херувимов из анекдота, которых – морально, во всяком случае, – не по чему было отшлепать. Помню, я чувствовала себя, особенно с Майлсом, так, как будто у него не было никакой истории в школе. Мы не ждем от малого ребенка предыстории, богатой событиями, но в этом прелестном мальчике было что-то необычайно нежное и необычайно счастливое, что как будто рождалось сызнова каждый день и поражало в нем больше, чем в других детях его лет. Он вообще никогда не страдал, ни единой секунды. Я приняла это за прямое опровержение того, будто он и в самом деле был наказан. Если б он был так испорчен, по нему это было бы видно, и я бы это заметила, напала бы на какой-то след. А я ничего не заметила,

ровно ничего, и, следственно, он был суший ангел. Он никогда не говорил о школе, никогда не поминал кого-нибудь из товарищей или учителей, я же, со своей стороны, была так возмущена их несправедливостью, что и не намекала на них. Разумеется, я была околдована, и всего удивительнее то, что даже в то время я отлично это сознавала. Но все же я поддавалась чарам: они умеряли мою муку, а у меня эта мука была не единственная. В те дни я получила тревожные вести из дому, где дела шли неладно. Но что это значило, если у меня оставались мои дети? Этот вопрос я задавала себе в минуты уединения. Детская прелесть моих питомцев ослепляла меня.

Было одно воскресенье – начну с этого, – когда дождь лил с такой силой и столько часов подряд, что не было никакой возможности идти в церковь, и потому уже на склоне дня я договорилась с миссис Гроуз, что, если вечером погода улучшится, мы вместе отправимся к поздней службе. К счастью, дождь перестал, и я приготовилась выйти на прогулку, по аллее через парк и по хорошей деревенской дороге, которая должна была занять минут двадцать. Сходя вниз, чтобы встретиться с моей товаркой в холле, я вспомнила о перчатках, которые потребовали починки и были заштопаны, публично и, быть может, не слишком назидательно, пока я сидела с детьми за чаем – в виде исключения чай подавался по воскресеньям в холодном, опрятном храме из мрамора и бронзы, в столовой "для взрослых". Перчатки там и оста-



лись, и я зашла за ними; день был довольно пасмурный, но вечерний свет еще медлил, и это помогло мне не только сразу обнаружить перчатки на стуле у широкого окна, в тот час закрытого, но и заметить человека по ту сторону окна, глядевшего прямо в комнату. Одного шага в столовую было достаточно: мой взгляд мгновенно охватил и вобрал все разом. Лицо человека, глядевшего прямо в комнату, было то же, – это был тот самый, кто уже являлся мне. И вот он явился снова, не скажу с большей ясностью, ибо это было невозможно, но совсем близко, и эта близость была шагом вперед в нашем общении и заставила меня похолодеть и задохнуться. Он был все тот же – он был все тот же и виден на этот раз, как и прежде, только до пояса, – окно, хоть столовая и была на первом этаже, не доходило до пола террасы, где он стоял. Его лицо прижималось к стеклу, но эта большая близость только напомнила мне странным образом, как ярко было видение в первый раз. Он оставался всего несколько секунд, но достаточно долго, чтобы я могла убедиться, что и он тоже узнает меня, и было так, словно я смотрела на него целые годы и знала его всю жизнь. Что-то, однако, произошло, чего не было прежде: он смотрел мне в лицо (сквозь стекло и через комнату) все тем же пристальным и жестким взглядом, как и тогда, но этот взгляд оставил меня на секунду, и я могла видеть, как он переходит с предмета на предмет. Сразу же меня поразила уверенность в том, что не для меня он явился сюда. Он явился ради кого-то другого.

Проблеск познания – ибо это было познанием среди мрака и ужаса – произвел на меня необычайное действие: он вызвал внезапный прилив чувства долга и смелости. Я говорю о смелости, потому что, вне всякого сомнения, я крайне осмелела. Я бросилась вон из столовой ко входной двери, в одно мгновение очутилась на дорожке и, промчавшись по террасе, обогнула угол и окинула взглядом аллею. Однако видеть было уже нечего – незнакомец исчез. Я остановилась и чуть не упала, чувствуя подлинное облегчение; я оглядела место действия, давая призраку время вернуться. Я называю это "временем", но как долго оно длилось? Сегодня я не могу, в сущности, говорить о длительности всего события. Чувство меры, должно быть, покинуло меня: все это не могло длиться так долго, как мне тогда показалось. Терраса и все, что ее окружало, лужайка и сад за нею, парк, насколько он был мне виден, были пустынно великой пустынностью. Там были и кустарники, и большие деревья, но я помню свою твердую уверенность, что ни за одним из них не скрывается призрак. Он был или не был там: не был, если я его не видела. Это я понимала; потом, инстинктивно, вместо того чтобы вернуться той же дорогой в дом, я подошла к окну. Почему-то мне смутно представилось, что я должна стать на то же место, где стоял призрак. Я так и сделала: прижалась лицом к стеклу и заглянула в комнату, как заглядывал он. И в эту минуту, как будто для того, чтобы показать мне точно, на каком расстоянии от меня он стоял, из холла вошла миссис Гроуз, так же,

как до нее это сделала я. И тут я получила полное представление о том, что произошло. Она увидела меня так же, как я видела незнакомца; как и я, она сразу остановилась – я потрясла ее так же, так была потрясена сама. Она вся побелела, и это заставило меня задать себе вопрос: неужели и я так же побледнела? Словом, она и смотрела, как я, и отступала по моим следам, и я знала, что она вышла из комнаты и пошла кругом дома ко мне, а сейчас я с ней должна встретиться. Я осталась там, где была, и, пока дожидалась ее, успела подумать о многих вещах. Но я упомяну только об одной из них. Мне хотелось знать, почему она испугалась?

## V

О, это я узнала от нее скоро, очень скоро, как только, обогнув угол, она снова показалась в виду.

– Господи боже мой, что такое с вами?... – Она вся покраснелась и запыхалась.

Я молчала, пока она не подошла ближе.

– Со мною? – Должно быть, лицо у меня было странное. – Разве по мне что-нибудь заметно?

– Вы белая, как простыня. Смотреть страшно!

Я подумала: теперь, без всяких угрызений совести, я не отступлю перед любой степенью невинности. Бремя уважения к невинности миссис Гроуз беззвучно свалилось с моих плеч, и если я колебалась с минуту, то вовсе не из-за того, о чем умалчивала. Я протянула ей руку, и она приняла ее; на секунду я крепко сжала ее руку, – мне было приятно, что она тут, рядом. В ее робком, взволнованном удивлении чувствовалась все же какая-то поддержка.

– Вы, конечно, пришли звать меня в церковь, но я не могу идти.

– Что-нибудь случилось?

– Да. Теперь и вы должны это узнать. Вид у меня был очень странный?

– Через окно? Ужасный!

– Так вот, – сказала я, – меня напугали.

Глаза миссис Гроуз ясно выразили и нежелание пугаться, и то, что она слишком хорошо знает свое место, а потому готова разделить со мною любую явную неприятность. О, было твердо решено, что она ее разделит!

– То, что вы видели из окна столовой, сходно с тем, что минуту назад видела я. Но мое видение было много хуже.

Ее рука сжалась еще крепче.

– Что это было?

– Какой-то чужой человек. Заглядывал в окно.

– Что за человек?

– Не имею понятия.

Миссис Гроуз тщательно озиралась кругом.

– Так куда же он делся?

– И этого не знаю.

– А раньше вы его видели?

– Да, однажды. На старой башне.

Она только еще пристальнее взглянула на меня.

– Вы думаете, что это был чужой?

– Ну, еще бы!

– И все-таки вы мне ничего не сказали?

– Нет, на то были причины. Однако сейчас, когда вы уже догадались...

Круглые глаза миссис Гроуз отразили мое обвинение.

– Ох, нет, я не догадалась! – очень просто сказала она. –

Где уж мне было догадаться, когда и вы не могли?

– Ни в коей мере.

– Вы нигде его не видели, кроме как на башне?

– И вот только что, на этом самом месте.

Миссис Гроуз снова огляделась.

– Что же он делал на башне?

– Просто стоял там и смотрел на меня сверху.

Она подумала с минуту.

– Это был джентльмен?

Тут я даже не задумалась.

– Нет.

Она глядела на меня еще удивленнее.

– Нет.

– Тогда, может быть, кто-нибудь из здешних? Может быть, кто-нибудь из деревни?

– Нет, не здешний... не здешний. Вам я не говорила, но я это проверила. Она вздохнула со смутным облегчением: странное дело, так ей показалось много лучше. Но это еще ничего не доказывало.

– Но если он не джентльмен...

– То что это такое? Это ужас.

– Ужас?

– Это... господи, помогите мне, но я не знаю, кто он такой!

Миссис Гроуз еще раз оглянулась вокруг: она остановила взгляд на темнеющей дали, затем, собравшись с духом, снова повернулась ко мне с неожиданной непоследовательностью:

– Нам бы пора в церковь.

– Я не в состоянии идти в церковь.

– Разве вам это не поможет?

– Вот им не поможет!... – Я кивком головы указала на дом.

– Детям?

– Я не могу сейчас их оставить.

– Вы боитесь?...

Я решительно ответила:

– Да. Боюсь его.

При этом на широком лице миссис Гроуз впервые показался далекий и слабый проблеск ясного понимания. Я различила на нем запоздалый свет какой-то мысли, которую не я ей внушила и которая была еще темна мне самой. Мне вспоминается, как я почувствовала, будто что-то передалось мне от миссис Гроуз и что это связано с только что проявленным ею желанием узнать больше.

– Когда это было... на башне?

– В середине месяца. В этот самый час.

– Почти в темноте? – спросила миссис Гроуз.

– О, нет, было совсем светло. Я его видела, вот как вижу вас.

– Так как же он вошел туда?

– И как он вышел? – улыбнулась я. – У меня не было возможности спросить его! Вы же видите, нынче вечером ему не удалось войти, – продолжала я.

– Он только заглядывал в окно?

– Надеюсь, дело этим и кончится!

Тут она выпустила мою руку и слегка отвернулась. Я подождала с минуту, потом решительно сказала:

– Идите в церковь. Всего вам хорошего. А мне надо их стеречь.

Она снова медленно повернулась ко мне.

– Вы боитесь за них?

Мы обменялись еще одним долгим взглядом.

– А вы?

Вместо ответа она подошла ближе к окну и на минуту прижалась лицом к стеклу.

– Вы видите то, что и он видел, – тем временем продолжала я.

Она не шевельнулась.

– Сколько он здесь пробыл?

– Пока я не вышла. Я бросилась ему навстречу.

Миссис Гроуз наконец обернулась, и ее лицо выразило все остальное.

– Я бы не могла так!

– Я тоже не могла бы, – опять улыбнулась я. – Но все-таки вышла. Я знаю свой долг.

– И я свой знаю, – возразила она, после чего прибавила: – На кого он похож?

– Мне до смерти хотелось бы ответить вам на ваш вопрос, но он ни на кого не похож.

– Ни на кого? – эхом отозвалась она.

– Он был без шляпы.



И, заметив по ее лицу, что она уже в этом одном увидела начало портрета и встревожилась еще сильнее, я стала быстро добавлять черту за чертой.

– У него рыжие волосы, ярко-рыжие, мелко вьющиеся, и бледное длинное лицо с правильными, красивыми чертами и маленькими, непривычной формы бакенами, такими же рыжими, как волосы. Брови у него, однако, темнее, сильно изогнуты и кажутся очень подвижными. Глаза зоркие, странные – очень странные; я помню ясно только одно, что они довольно маленькие и с очень пристальным взглядом. Рот большой, губы тонкие, и, кроме коротких бакенов, все лицо чисто выбрито. У меня такое впечатление, что в нем было что-то актерское.

– Актерское?

Невозможно было походить на актрису меньше, чем миссис Гроуз в эту минуту.

– Я никогда актеров не видела, но именно так их себе представляю. Он высокий, подвижный, держится прямо, но ни в коем – нет, ни в коем случае не джентльмен! – продолжала я.

Лицо моей товарки побелело при этих словах, круглые глаза остановились и мягкий рот раскрылся.

– Джентльмен? – ахнула она растерянно и смятенно. – Это он-то джентльмен?

– Так вы его знаете?

Она, видимо, старалась держать себя в руках.

– А он красивый?

Я поняла, как ей помочь.

– Замечательно красивый!

– И одет?...

– В платье с чужого плеча. Оно щегольское, но не его собственное.

У нее вырвался сдавленный, подтверждающий стон.

– Оно хозяйское!

Я подхватила:

– Так вы знаете его?

– Квинт <sup>4</sup>! – воскликнула она.

– Квинт?

– Питер Квинт, его личный слуга, его лакей, когда он жил здесь.

– Когда милорд был здесь?

Идя мне навстречу и не переставая изумляться, миссис Гроуз связала все это вместе.

– Он никогда не носил хозяйской шляпы, зато... ну, там не досчитались жилетов. Оба они были здесь – в прошлом году. Потом милорд уехал, а Квинт остался один.

Я слушала, но на минутку приостановила ее.

– Один?

– Один, с нами. – Потом, словно из глубочайших глубин, добавила: – Для надзора.

---

<sup>4</sup> Фамилия *Квинт*, исключительно редкая в Британии, могла встретиться Джеймсу в VIII томе Отчетов Парапсихологического общества.

– И что же с ним стало?

Она медлила так долго, что я озадачилась еще больше.

– Он тоже... – наконец произнесла она.

– Уехал куда-нибудь?

Тут ее лицо стало крайне странным.

– Бог его знает, где он! Он умер.

– Умер? – чуть не вскрикнула я.

Казалось, она нравственно выпрямилась, нравственно окрепла, чтобы выразить словами то, что было в этом сверхъестественного:

– Да. Мистер Квинт умер.

## VI

Разумеется, понадобилось гораздо больше времени, чем эти несколько минут, для того, чтобы мы обе столкнулись с тем, что нам приходилось теперь переживать вместе – с моей ужасной восприимчивостью, слишком явно подтвердившейся в данном эпизоде; следовательно, и моя подруга тоже узнала теперь об этой моей восприимчивости – узнала, смущаясь и сочувствуя. Так как мое открытие на целый час свергло меня в проstration, обеим нам так и не довелось в тот день послушать церковную службу, кроме тех молитв и обетов, тех слез и клятв, которые дошли до высшей точки в обоюдных просьбах и обещаниях. Все это кончилось тем, что мы с ней удалились в классную и заперлись там на ключ, чтобы объясниться. В результате наших объяснений мы просто подвели итоги. Сама миссис Гроуз ровно ничего не видела, – не видела даже тени чего-нибудь такого, и никто из прислуги больше не попадал в беду, кроме той самой гувернантки; однако же миссис Гроуз поняла, что все рассказанное мною – правда, и нисколько не усомнилась, по-видимому, в моих умственных способностях; а под конец проявила даже проникнутую благоговейным страхом нежность ко мне и уважение к моим более чем сомнительным привилегиям, – дыхание этой нежности до сих пор остается со мной, как самое теплое из проявлений людского милосердия.

В этот-то вечер мы с нею и решили, что вдвоем, пожалуй, справимся и выдержим, и я отнюдь не уверена, что на долю миссис Гроуз пришлась более легкая часть ноши, несмотря на то что в ее обязанности это вовсе не входило. Думаю, что и тогда, как и впоследствии, я понимала, с чем готова сразиться, защищая своих питомцев, но мне потребовалось некоторое время, чтобы убедиться в том, что и моя честная союзница тоже согласна соблюдать условия столь ненадежного и невыгодного договора. Я была для нее довольно странной компаньонкой – ничуть не менее странной, однако, чем и она для меня; но, когда я пытаюсь проследить весь наш путь, все, что мы пережили вместе с нею, я понимаю, как много общего нашли мы обе в том единственном решении, которое могло поддержать нас обеих на наше счастье. Это было то решение, то второе дыхание, которое вывело меня на прямую, если можно так выразиться, из внутренней темницы моего страха. По крайней мере, я смогла тогда подышать воздухом во дворе, и миссис Гроуз тоже ко мне присоединилась. Отлично помню и теперь, как странно вернулись ко мне силы перед тем, как мы с ней простились на ночь. Мы перебрали подробность за подробностью все, что мне пришлось увидеть.

– Вы говорите, он искал кого-то другого, не вас?

– Он искал маленького Майлса. Вот кого он искал. – Зловещая ясность вдруг обступила меня.

– А откуда вы знаете?

– Знаю, знаю, знаю! – Моя экзальтация все росла. – И вы тоже знаете, милая!

Она этого не отрицала, но я даже и не требовала, чтоб она выразила свое чувство словами. Во всяком случае, через минуту она продолжала:

– А что, если б он увидел?

– Маленький Майлс? Ему только того и надо!

От страха она побледнела как смерть.

– Такому ребенку?

– Боже сохрани! Тому, другому. Это он хочет явиться им.

Что он может явиться, было ужасной возможностью, и все же я каким-то образом не допускала этой мысли; больше того, мне действительно удалось это доказать, пока мы гуляли во дворе. Я была абсолютно уверена, что могу снова увидеть то, что уже видела, но что-то говорило мне, что я одна должна пойти навстречу такому переживанию, одна принять, преодолеть все это, а преодолев, я послужила бы искупительной жертвой и охранила бы покой моих сотоварищей. Детей в особенности я должна была оградить и спасти раз навсегда. Помню то, что я сказала миссис Гроуз напоследок:

– Меня поражает, что мои воспитанники ни разу не упомянули...

Она пристально смотрела на меня, пока я собиралась с мыслями.

– ...о том, что Квинт был здесь, и о том времени, когда дети были с ним?

– Ни о времени, когда они были с ним, ни его имени, ни внешности, ни его истории в той или иной форме.

– Да, маленькая не помнит. Она ничего не слышала и не знала.

– О его смерти? – Я напряженно размышляла. – Да, может быть. Но Майлс должен помнить, Майлс должен знать.

– Ах, не трогайте вы его! – вырвалось у миссис Гроуз.

Я ответила ей таким же пристальным взглядом.

– Не бойтесь. – Я продолжала размышлять. – Но это все же странно.

– Что Майлс никогда не поминал о нем?

– Никогда, ни единым намеком. А вы мне говорите, что они были "большие друзья"?

– Ох, только не Майлс! – убежденно пояснила миссис Гроуз. – Это у Квинта была такая выдумка. Играть с мальчиком, портить его. – Она помолчала минуту, потом прибавила: – Квинт очень уж вольничал.

Передо мной возникло его лицо – такое лицо! – и меня пронзила внезапная дрожь отвращения.

– Вольничал с моим мальчиком?

– Со всеми очень вольничал!

В ту минуту я не стала углубляться в ее определение, подумав только, что оно отчасти приложимо и к другим, к десятку служанок и слуг, составлявших нашу маленькую колонию. Но для нас самым важным было то счастливое обстоятельство, что никакая зловещая легенда, никакие кухонные

пересуды не были на чьей бы то ни было памяти связаны с милым старинным поместьем. У него не было ни худого имени, ни дурной славы, а миссис Гроуз самым явным образом хотелось только быть поближе ко мне и дрожать в молчании. В конце концов я даже подвергла ее испытанию. Это было в полночь, когда она уже взялась за ручку двери, прощаясь со мной.

– Так вы говорите – ведь это очень важно, – что он был известен своей испорченностью?

– Не то чтоб известен. Это я знала, а хозяин не знал.

– И вы ему никогда не говорили?

– Ну, он не любил сплетен, а жалоб терпеть не мог. Все такое его ужасно сердило, и если человек для него был хорош...

– То он ничего и слушать не хотел? – Это совпадало с моим впечатлением: он не любил, чтоб его беспокоили, и, быть может, не слишком разбирался в людях, которые от него зависели. Тем не менее я настаивала: – Даю вам слово, что я бы ему сказала!

Она почувствовала, что я ее осуждаю.

– Признаться, я не так поступила, как надо. Но, по правде говоря, я побоялась.

– Побоялись чего?

– Того, что этот человек мог сделать. Квинт был такой хитрец, такая тонкая штучка.

На меня это подействовало сильнее, чем мне хотелось по-



казать.

– А ничего другого вы не боялись? Его влияния?...

– Его влияния? – повторила она, глядя на меня встревожено и выжидающе, пока я не вымолвила:

– На милых невинных крошек. Ведь они были на вашем попечении.

– Нет, не на моем! – откровенно и с отчаянием возразила она. – Хозяин верил Квинту и послал его сюда, потому что считалось, будто он болен и деревенский воздух ему полезен. Так что от его слова все зависело. Да, – она подчеркнула, – даже дети.

– Дети... от этой твари? – Я с трудом подавила стон. – Как же вы это терпели?

– Нет, я не могла терпеть, и сейчас не могу! – И бедная женщина залилась слезами.

Как я уже говорила, начиная со следующего дня за детьми был установлен строгий надзор; и все же как часто и как горячо всю ту неделю мы возвращались к этой теме! Мы говорили и говорили с ней в воскресную ночь, а меня, особенно в поздние часы (можете себе представить, как мне спалось), все время преследовала тень чего-то, о чем миссис Гроуз умолчала. Я сама не утаила от нее ничего, но осталось одно только слово, которое утаила миссис Гроуз. Более того, к утру я убедилась, что она молчала не по недостатку откровенности, но потому, что у каждой из нас были свои страхи. Когда я оглядываюсь назад, мне в самом деле кажется, что

к тому времени, как утреннее солнце поднялось высоко, я с тревогой прочла в известных нам событиях почти все то значение, какое должны были придать им события последующие, более трагические. Самое главное, они воссоздали для меня зловещую фигуру живого человека – о мертвом можно было не думать! – и те месяцы, когда он постоянно жил в усадьбе, складывались в долгий и страшный срок. Предел этому мрачному периоду был положен на рассвете зимнего дня, когда один из работников нашел Питера Квинта мертвым по дороге из деревни в усадьбу. Катастрофа объяснялась, хотя бы с виду, заметной раной на голове: такую рану можно было приписать, как оно и подтвердилось в дальнейшем, падению в темноте, по выходе из трактира, на скользком, обледенелом склоне, где нашли тело. Обледенелая тропа, неверный поворот, выбранный во тьме и в нетрезвом виде, объясняли очень многое, – в сущности, после дознания следователя и неумемной болтовни окружающих, почти все; но в его жизни были странные и рискованные приключения, тайные болезни, почти явные пороки – так что все это могло объяснить и гораздо большее.

Я не знаю, какими словами надо рассказывать эту историю, чтобы создалась достоверная картина моего душевного состояния, но в те дни я была способна черпать радость в необычайном взлете героизма, которого от меня требовали обстоятельства. Теперь я понимала, что от меня ждали трудной и очень значительной услуги и что было некое величие

в том, чтобы дать заметить – о, тому, кому следует! – мою победу там, где другая девушка потерпела бы неудачу. Мне очень помогало то, – признаться, и теперь, оглядываясь на прошлое, я аплодирую сама себе! – что я смотрела на мою услугу так смело и так просто. Я здесь для того, чтобы охранять и защищать этих детей, осиротевших и милых детей, чья беспомощность, ставшая вдруг слишком очевидной, отзывалась глубокой, постоянной болью в моем уже не свободном сердце. Действительно, мы вместе отрезаны от мира, мы объединены общей опасностью. У них нет никого, кроме меня, а у меня – что ж, у меня есть они. Словом, это великолепная возможность. И эта возможность представилась мне воплощенной в ярком образе. Я щит – я должна заслонять их. Чем больше вижу я, тем меньше должны видеть они. Я начала следить за ними, сдерживая и скрывая нарастающее волнение, которое могло, если бы затянулось, перейти в нечто, подобное безумию. Как я теперь понимаю, спасло меня то, что оно перешло в нечто совершенно иное. Оно не затянулось – его сменили ужасные доказательства, улики. Да, повторяю, улики – с того самого момента, как я приступила к действию.

Этот момент начался с полуденного часа, который я проводила в парке с одной только младшей моей воспитанницей. Мы оставили Майлса дома лежащим в глубокой оконной нише на большой красной подушке: ему хотелось дочитать книгу, а я была рада поощрить такую похвальную на-

клонность в мальчике, единственным недостатком которого бывала подчас крайняя непоседливость. Его сестра, напротив того, с удовольствием отправилась на прогулку, и мы с ней около получаса бродили в поисках тени, ибо солнце стояло еще высоко, а день был чрезвычайно жаркий. Гуляя с Флорой, я снова убедилась, что она, как и ее брат, умеет – у обоих детей была эта очаровательная особенность – оставлять меня в покое, не бросая, однако, совсем одну, и разделять мое общество, не докучая своим присутствием. Они никогда не бывали назойливы и все же никогда не бывали невнимательны. Я же только наблюдала их самозабвенную игру вдвоем, без меня: казалось, они увлеченно готовят какой-то спектакль, а я в нем участвую как увлеченный зритель. Я входила в мир, созданный ими, им же незачем было входить в мой мир, и мое время бывало занято только тем, что я изображала собой какую-нибудь замечательную особу или предмет, которого в ту минуту требовала игра, словом, достаивалась высокого поста, веселой и благородной синекуры. Я не помню, что мне пришлось изображать в тот день, помню только, что я была чем-то очень важным и что Флора вся ушла в игру. Мы сидели на берегу озера, и, так как мы только что начали изучать географию, наше озеро называлось Азовским морем<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Считается, что одним из косвенных (возможно, стертых из памяти) источников идей при создании повести был рисунок Тома Гриффитса «Дом с привидениями», опубликованный в иллюстрированном журнале «Блэк энд Уайт» (1891) в одном номере с джеймсовским мистическим рассказом «Сэр Эдмунд Орм».

И вдруг до моего сознания дошло, что на другом берегу "Азовского моря" кто-то стоит и внимательно наблюдает за нами. Это знание постепенно накоплялось во мне очень странным отрывочным образом – необычайно странным, помимо того, что все это еще более странным образом быстро слилось воедино. Я сидела с работой в руках, изображая что-то такое, что могло сидеть, на старой каменной скамье, лицом к озеру, и с этой позиции я начала убеждаться мало-помалу, однако не видя этого прямо, в присутствии третьего лица на некотором расстоянии от нас. Старые деревья, густые кустарники давали много прохладной тени, но вся она была пронизана светом этого жаркого и тихого часа. Ни в чем не было двойственности, по крайней мере, ее не было в моей уверенности, возраставшей с минуты на минуту, что именно я увижу прямо перед собой на том берегу озера, как только подниму глаза. В эти минуты они не отрывались от шитья, которым я была занята, и сейчас я снова чувствую, с каким усилием давалось мне решение не поднимать глаз, пока я не придумаю, что же мне делать. В поле зрения была

---

Джеймс, конечно, не мог не заметить рисунка, на котором изображены двое детей, мальчик и девочка, в ужасе смотрящие на противоположный берег озера, где стоит дом с башней. В одном из окон дома сияет призрачный свет, отражающийся в воде; дети стоят под большим деревом, берега озера заросли густым кустарником. Вполне вероятно, что воспоминание о рисунке всплыло – пусть неосознанно, – лишь когда писатель услышал рассказ архиепископа Бенсона, и в конечном счете привело к описанию озера, получившего название Азовское море, где героиня (а быть может, и ее подопечная) видит призрак покойной гувернантки.

одна чуждая всему фигура, чье право присутствовать среди нас я мгновенно и страстно отвергла. Я перебрала решительно все возможное, говоря себе, что нет ничего естественнее появления кого-нибудь из работников фермы или даже посылного, почтальона, например, или мальчика из деревенской лавочки. Такая мысль ничуть не поколебала моей твердой уверенности – ведь я знала, все еще не глядя, – кто это и к кому это явилось. Казалось бы, что могло быть естественнее, если б на том берегу все так и происходило, но, увы, этого не было!

Я убедилась в несомненной подлинности моего видения, как только маленькие часы моей храбрости правильно отстукали секунду, и, сделав над собой резкое до боли усилие, я тут же перевела глаза на маленькую Флору, которая сидела в десяти шагах от меня. Мое сердце замерло на миг от изумления и ужаса, я спрашивала себя, неужели и она видит; я боялась дышать, в ожидании, что она или вскрикнет, или иначе проявит простодушное изумление или тревогу. Я ждала, но никакого знака не было; тогда, во-первых, – и в этом, как я понимаю, есть что-то самое страшное – страшнее всего остального, о чем я рассказываю, – надо мною довлело чувство, что уже с минуты от нее не слышно ни звука; и, во-вторых, то, что, играя, она вдруг повернулась спиной к озеру. Такова была ее поза, когда я наконец посмотрела на нее – посмотрела с твердым убеждением, что за нами обеими все еще кто-то наблюдает. Флора подобрала небольшую дощечку

с отверстием посередине<sup>6</sup>, и это, видимо, навело ее на мысль воткнуть туда веточку вместо мачты, чтобы получилась лодка. Я наблюдала, как она очень старательно пыталась укрепить веточку на месте. Мое подозрение, что она это делает нарочно, настолько укрепило меня, что спустя несколько секунд я уже почувствовала, что мне предстоит увидеть еще большее. Тогда я снова перевела глаза – и встретила лицом к лицу то, что должна была встретить.

---

<sup>6</sup> Игра Флоры с дощечкой с отверстием и палочкой – эпизод, на котором критики, стоящие на позиции классического фрейдизма, строят свои доказательства. Эта сцена, а также то обстоятельство, что привидение Питера Квинта впервые является на башне (фаллический символ), а призрак мисс Джессел – у воды (символ женского начала), указывают на сознательные или бессознательные фрейдистские мотивы повести. Известно, что Уильям Джеймс познакомился с первой работой Зигмунда Фрейда и доктора Брейера «Исследования истерии» (1895) через год после ее публикации и открыто заявлял о том, что этот труд представляет значительный интерес. Вероятно, Генри Джеймс тогда же воспринял основы будущего психоаналитического учения.

## VII

После этого я постаралась как можно скорее разыскать миссис Гроуз, и не в моих силах дать вразумительный ответ, что я перенесла за этот промежуток времени. Однако и до сих пор я слышу тот крик, с каким я бросилась прямо в ее объятия:

– Они знают... это просто чудовищно; они знают, знают!

– Но что же они знают?... – Она обняла меня, и я почувствовала, что она мне не верит.

– Да все, что и мы знаем... и бог ведает, что еще сверх того!

И тут, когда она выпустила меня из своих объятий, я объяснила ей, объяснила, быть может, и самой себе с полной связностью только теперь:

– Два часа тому назад, в саду, – я это выговорила с трудом, – Флора видела!

Миссис Гроуз приняла мои слова так, как приняла бы удар в грудь.

– Она вам сказала? – спросила миссис Гроуз, задыхаясь.

– Ни единого слова – в том-то и ужас. Она затаила все про себя! Ребенок восьми лет, такой маленький ребенок!

И все же я не могла выразить всей меры моего потрясения. Миссис Гроуз, само собой, могла только раскрыть рот еще шире.



– Так откуда же вы знаете?...

– Я была там... я видела собственными глазами: я поняла, что и Флора отлично видит.

– То есть вы хотите сказать, видит его?

– Нет – ее.

Говоря это, я понимала, что на мне лица нет, ибо это постепенно отражалось на моей товарке.

– В этот раз – не он, но совершенно такое же воплощение несомненного ужаса и зла: женщина в черном<sup>7</sup>, бледная и страшная... при этом с таким выражением, с таким ликом!... на другом берегу озера. Я пробыла там с девочкой в тишине около часа; и вдруг среди этой тишины явилась она.

– Откуда явилась?

– Откуда все они являются! Неожиданно показалась и стала перед нами, но не так уж близко.

– И ближе не подходила?

– О, такое было чувство, словно она не дальше от меня,

---

<sup>7</sup> Описание облика и обстоятельств появления «фигуры в черном» могло быть заимствовано Джеймсом из тома VIII Отчетов Парапсихологического общества. В истории, рассказанной мисс Розой Мортон, описывается призрак «вдовы», являвшейся в течение восьми лет как в доме, так и на улице разнообразным свидетелям, в том числе и двум мальчикам. Делом этим занимался Фредерик Майерс, крупнейший авторитет в парапсихологии, с которым Джеймс был прекрасно знаком. У писателя завязалась с Майерсом краткая переписка по поводу «Поворота винта». В томе VI Отчетов, равно как и в работе Майерса «О привидениях, увиденных через год после смерти», описывается еще один подобный случай, произошедший с мадемуазель Маршан, французской гувернанткой двух английских девочек.

чем вы.

Моя товарка, повинувшись какому-то странному побуждению, сделала шаг назад.

– Это был кто-нибудь, кого вы никогда раньше не видели?

– Да, но кто-то такой, кого видела девочка. Кто-то, кого видели и вы. – И чтобы миссис Гроуз поняла, до чего я додумалась, я пояснила: – Моя предшественница – та, которая умерла.

– Мисс Джессел?

– Мисс Джессел. Вы мне не верите? – воскликнула я.

Она в отчаянии смотрела то вправо, то влево.

– Неужто вы уверены?...

Нервы мои были так натянуты, что ото вызвало у меня взрыв раздражения:

– Ну так спросите Флору – она-то уверена!

Но не успела я произнести эти слова, как тут же спохватилась:

– Нет, ради бога, не спрашивайте! Она отопрется... она солжет!

Миссис Гроуз растерялась, но не настолько, чтобы не возразить инстинктивно:

– Ах, что вы, как это можно?

– Потому что мне все ясно. Флора не желает, чтобы я знала.

– Ведь это только жалеючи вас...

– Нет, нет... там такие дебри, такие дебри! Чем больше

я раздумываю, тем больше вижу, и чем больше вижу, тем больше боюсь. Но чего только я не вижу... чего только не боюсь!

Миссис Гроуз напрасно силилась понять меня.

– То есть вы боитесь, что опять ее увидите?

– О, нет – это пустяки теперь! – И я объяснила: – Я боюсь, что не увижу ее.

Однако моя товарка только смотрела на меня растерянным взглядом.

– Я вас не понимаю.

– Ну как же: я боюсь, что девочка будет с ней видаться – а видаться с ней девочка несомненно будет – без моего ведома.

Представив себе такую возможность, миссис Гроуз на минуту пала духом, однако тут же вновь собралась с силами, как будто черпая их в сознании, что для нас отступить хотя бы на шаг – значит в самом деле сдать.

– Боже мой, боже, только бы нам не потерять головы! Но в конце концов ведь если она сама не боится... – Миссис Гроуз попыталась даже невесело пошутить: – Может, ей это нравится!

– Нравится такое – нашей крошке!

– Разве это не доказывает всю ее святую невинность? – прямо спросила моя подруга. На мгновение она меня почти убедила.

– О, вот за что нам надо ухватиться... вот чего надо держаться! Если это не доказательство того, о чем вы говори-

те, тогда это доказывает... бог знает что! Ведь эта женщина ужас из ужасов.

Тут миссис Гроуз на минуту потупила глаза и наконец, подняв их, спросила:

– Скажите, откуда вы это узнали?

– Так вы допускаете, что она именно такая и есть? – воскликнула я.

– Скажите, как вы это узнали? – просто повторила моя подруга.

– Как узнала? Узнала, едва только увидела ее. По тому, как она смотрела.

– На вас... этак злобно, хотите вы сказать?

– Боже мой, нет – это я перенесла бы. На меня она ни разу не взглянула.

Она пристально смотрела только на девочку.

Миссис Гроуз попыталась вообразить себе это.

– Смотрела на Флору?

– Да, и еще такими страшными глазами.

Миссис Гроуз глядела мне в глаза так, словно они и в самом деле могли походить на те глаза.

– Вы хотите сказать, с неприязнью?

– Боже нас сохрани, нет. С чем-то гораздо худшим.

– Хуже, чем неприязнь? – Перед этим она действительно стала в тупик.

– С решимостью – с неопишуемой решимостью. С каким-то злобным умыслом.

Я заставила миссис Гроуз побледнеть.

– С умыслом?

– Завладеть Флорой.

Миссис Гроуз, все еще не сводя с меня глаз, вздрогнула и отошла к окну; и пока она стояла там, глядя а сад, я закончила свою мысль:

– Вот это и знает Флора.

Немного спустя она обернулась ко мне.

– Вы говорите, эта особа была в черном?

– В трауре – довольно бедном, почти убогом. Да, но красоты она необычайной.

И тут мне стало понятно, что я убедила в конце концов жертву моей откровенности – ведь она явно задумалась над моими словами.

– Да, красива – очень, очень красива, – настаивала я, – поразительно красива. Но коварна.

Миссис Гроуз медленно подошла ко мне.

– Мисс Джессел и была такая... бесчестная. Она снова забрала мою руку в обе свои и крепко сжала ее, словно для того, чтобы укрепить меня в борьбе с нарастающей тревогой, которую принесло мне это открытие.

– Оба они были бесчестные, – заключила она. Так на краткое время мы с ней во второй раз оказались лицом к лицу все с тем же; и, несомненно, мне как-то помогло то, что я именно сейчас поняла это так ясно.

– Я ценю ту великую сдержанность, которая заставляла

вас до сих пор молчать, – сказала я, – но теперь, конечно, пора поведать мне все.

Казалось, она была согласна со мной, но все же только молчанием и дала это понять, а потому я продолжала:

– Теперь я должна узнать. Отчего она умерла? Скажите, между ними было что-нибудь?

– Было все.

– Вопреки разнице в?...

– Да, в должности, в положении, – горестно вымолвила миссис Гроуз. – Ведь она-то была леди.

Я задумалась. И снова увидела ее.

– Да, она леди.

– А он был много ниже, – продолжала миссис Гроуз. Я чувствовала, что мне в присутствии миссис Гроуз, конечно, не следует слишком подчеркивать положение слуги на общественной лестнице, но как можно было изменить то, что моя подруга считала унижением бывшей гувернантки? С этим надо было считаться, и я считалась тем охотнее, что вполне представляла себе фигуру "личного слуги" – ловкого, красивого, но бесстыжего, наглого, избалованного и развращенного.

– Этот малый был негодяй.

Миссис Гроуз замолчала, полагая, быть может, что в этом случае надо выбирать слова и считаться с оттенками смысла.

– Я никогда такого, как он, не видела. Он всегда делал, что хотел.

– С нею?

– С ними со всеми.

И тут стало так, как будто перед глазами моей подруги снова возникла мисс Джессел. На мгновение мне, во всяком случае, показалось, что я вижу ее отраженный образ так же явственно, как видела его на берегу пруда, а я высказалась решительно:

– Надо думать, что и она была непрочь!

Лицо миссис Гроуз выразило, что так это и было, однако она сказала:

– Бедная женщина, она за это поплатилась.

– Значит, вы знаете, отчего она умерла? – спросила я.

– Нет... ничего я не знаю. Я и знать не хотела; я была даже рада, что не знаю, и благодарила бога, что для нее все кончено. Хорошо, что выпуталась наконец.

– Так у вас были, значит, свои соображения...

– Насчет причины ее отъезда? Насчет этого – да. Ей нельзя было оставаться. Вообразите, у нас, да еще гувернантка! А потом мне думалось... и сейчас еще думается. И то, что мне представляется – просто ужасно.

– Не так ужасно, как то, что представляю себе я. – И тут я поняла: ей, видимо, явилась картина самого жалкого моего поражения. Это снова пробудило все ее сострадание ко мне, и, вновь соприкоснувшись с ее добротой я не выдержала. Я разрыдалась точно так же, как до того заставила разрыдаться ее; она прижала меня к своей материнской груди, и я не

сдерживалась.

– Не могу! – вырвалось у меня сквозь слезы. – Не могу я спасти и защитить детей. Это еще хуже, чем мне снилось во сне, – они погибли!



## VIII

Я пересказала миссис Гроуз все случившееся довольно верно, однако в том, что я сообщила ей, были такие глубины и возможности, которых я просто не решалась измерить; и, когда мы встретились с ней еще раз, обе мы думали одинаково, – что не надо поддаваться никаким сумасбродным фантазиям. Нам нельзя было терять голову, как бы мы вообще ни растерялись, хотя это и было трудно, поскольку в нашем удивительном опыте многое оказалось бесспорным. Поздней ночью, пока все в доме спали, мы с ней поговорили еще у меня в комнате, и она соглашалась со мной до конца и считала вполне достоверным, что я в самом деле видела то, что видела. Я легко припирала ее к стенке, мне надо было только спросить ее в упор: как же, если я это «выдумала», могла бы я нарисовать портреты обоих призраков во всех подробностях, со всеми особыми приметами, и по этим портретам она каждый раз мгновенно узнавала и называла их. Ей хотелось бы, разумеется, замять все это – и кто бы ее осудил! – но я быстро убедила ее, что как раз в моих интересах надо пуститься на розыски; и мне это необходимо для того, чтобы найти путь к спасению. Я поспорила с нею, сказав, что, вероятно, с повторением встреч (а в повторении обо мы были уверены) я должна буду привыкнуть к опасности, и заявила, что мне лично ничего не грозит. Невыносимо было только

мое новое подозрение: однако даже и к этому за день прибавилось мало утешительного.

Расставшись с нею после моего первого взрыва, я, конечно, отправилась к моим воспитанникам, сознавая, что это верное средство против тревоги связано с ощущением их прелести, которое я уже научилась вызывать по желанию, и оно еще ни разу меня не подвело. Иными словами, я просто окунулась снова в атмосферу моей Флоры и тут же почувствовала – о, это была почти роскошь! – что она умеет положить свою чуткую маленькую ручку прямо на больное место. Она посмотрела на меня с кроткой задумчивостью и напрямик обвинила меня в том, что я "плакала". Мне казалось, что я смахнула долой безобразные следы рыданий, но все же я порадовалась, что они не совсем исчезли, и порадовалась, по крайней мере, тогда ее безграничному милосердию. Глядеть в глубокую синеву этих детских глаз и считать их прелесть только уловкой недетской хитрости значило бы провиниться в цинизме, и я, естественно, предпочла отказаться от своего суждения и, насколько это было возможно, от своей тревоги. Я не могла совсем от нее отречься потому только, что мне этого хотелось, но я могла повторять и повторять миссис Гроуз – как я и сделала перед самым рассветом, – что, когда в воздухе звучали их голоса, когда ты прижимала их к сердцу, их душистые щечки – к своей щеке, все рассыпалось в прах, кроме их незащитности и красоты. И почему-то было жалко, что, для того чтобы принять окончатель-

ное решение, я должна припомнить и все признаки коварства, которые вчера днем, у озера, заставили меня творить чудеса твердости и самообладания. Было горько, что приходится сомневаться даже в своей собственной уверенности, овладевшей мною в тот момент, и вновь вызывать в себе эту ошеломляющую мысль, что непостижимое общение, которое я подсмотрела, было привычным для обеих сторон. Было горько, что мне пришлось дрожащим голосом объяснять, почему я даже не спросила у девочки, видит ли она нашу гостью так же, как и я вижу миссис Гроуз, и почему ей хочется, чтобы я не знала, что она видит. И почему в то же время она скрывала свою догадку, что и я тоже вижу призрак! Было горько, что мне пришлось еще раз описывать зловещую вертлявость, которой девочка пыталась отвлечь мое внимание, – заметно усилившуюся подвижность, оживленность в игре, пение, бессвязную болтовню и приглашение побегать.

Однако, если бы при этом я не позволила себе думать, что ничего особенного не случилось, я бы упустила две-три смутных черточки, которые пока еще оставались мне в утешение. Например, я бы не могла уверить мою сообщницу в том, в чем сама была уверена – к счастью! – что я, по крайней мере, ничем не выдала себя. Меня бы не подстрекали отчаяние и крайняя нужда – не знаю, как это лучше выразить, – узнать по возможности больше, приперев мою подружку к стенке. Мало-помалу, уступая моему нажиму, она рассказала мне очень многое, но маленькая тень на изнанке ее

рассказа порой касалась моего лба, подобно крылу летучей мыши; и помню, как спящий дом и сосредоточенность на нашей общей опасности, казалось, помогли нам в те часы, и я почувствовала, насколько важно отдернуть занавес в последний раз. Я тогда сказала:

– Я не верю ничему такому ужасному, нет, давайте, милая, убедимся, что не верю. Но, если б я и поверила, есть одно, чего я потребовала бы теперь же без всякой пощады – заставила бы рассказать мне все. Что такое было у вас на уме, когда вы сказали еще до прибытия Майлса, расстроившись из-за письма из его школы, – сказали, потому что я настаивала на ответе, – что не считаете, будто он никогда не был плохим? За эти недели, что я сама прожила с ним и внимательно за ним наблюдала, он казался чудом добродетели – существом прелестным, обаятельным. И потому вы прекрасно могли бы заступиться за него, если бы не знали о чем-то другом. Что же это было и о чем вы говорили, ведь вам пришлось лично его наблюдать?

Вопрос был до жестокости суровый, но мы вели, беседу отнюдь не в легком тоне, и все же, прежде чем серый рассвет заставил нас расстаться, я добилась ответа. То, что было на уме у моей подруги, оказалось весьма и весьма кстати. Это было ни более ни менее как то обстоятельство, что Квинт с мальчиком в течение нескольких месяцев почти не разлучались. В сущности, это говорило о том, что она позволила себе усомниться, прилично ли им находиться в таком тесном

общении, – она даже зашла настолько далеко, что откровенно заговорила об этом с мисс Джессел. А мисс Джессел самым высокомерным тоном попросила ее заниматься своим делом; и после этого добрая женщина обратилась уже прямо к Майлсу. Что она ему сказала? (Я настаивала на ответе.) А то, что она не любит, когда молодые джентльмены забываются.

Я, разумеется, настаивала и дальше.

– Вы напомнили ему, что Квинт всего-навсего слуга?

– Вот именно! И он ответил мне очень нехорошо, это во-первых.

– А во-вторых? – Я подождала. – Он передал ваши слова Квинту?

– Нет, не то. Этого как раз он не сделал бы! – Ее ответ прозвучал убедительно. – Во всяком случае, я уверена, что не передал. Но, бывало, он кое-когда и увиливал.

– Когда же это?

– Они гуляли вдвоем, совсем как если бы Квинт был его воспитатель – да он еще так важничал, – а мисс Джессел воспитывала одну только маленькую леди. Майлс уходил с этим малым, вот что я хочу сказать, и пропадал с ним целые часы.

– Так он увиливал, говорил, что этого не было?

Ее согласие было вполне очевидным, и потому я прибавила спустя минуту:

– Понимаю. Он лгал вам,

– Ох! – Миссис Гроуз замялась.

Я поняла, что было не важно – солгал он или нет, и в самом деле она подтвердила это следующим замечанием:

– Видите ли, в конце концов мисс Джессел ничего не имела против. Она же ему не запрещала.

Я подумала.

– Он это привел вам в оправдание?

Тут миссис Гроуз снова упала духом.

– Нет, Майлс никогда мне об этом не говорил.

– Никогда не упоминал о ней в связи с Квинтом?

Она поняла, куда я клоню, и заметно покраснела.

– Нет, никогда. Он увиливал, он увиливал, – повторила она.

Боже, как я наступала на нее!

– И вы догадывались, что ему известны отношения между этими двумя тварями?

– Не знаю... не знаю! – простонала бедная женщина.

– Знаете, моя славная, – возразила я, – но только у вас нет моей отчаянной смелости, и вы скрываете из робости, скромности и деликатности, скрываете даже то впечатление, которое в прошлом причинило вам больше всего горя, когда вам приходилось выпутываться без моей помощи. Но я еще раз узнаю это у вас! Было же в мальчике нечто такое, что навело вас на мысль, будто он скрывает и утаивает их связь.

– Ох, он не мог помешать...

– Чтобы вы узнали правду? Но, боже мой, – я напрягла все свои умственные способности, – это доказывает, до ка-

кой степени им удалось перевоспитать его!

– Ах, сейчас-то ничего плохого нет! – печально заступилась за Майлса миссис Гроуз.

– Не удивительно, что у вас был такой странный вид, когда я рассказала вам о письме из школы! – настаивала я.

– Вряд ли более странный, чем у вас, – отпарировала она просто и сильно. – А если мальчик раньше был до того уж плох, так почему же теперь он такой ангел?

– Да, в самом деле, почему? И если он в школе был таким дьяволом! Почему, почему? Ну вот что, – сказала я, терзаясь этой мукой, – вы должны рассказать мне все еще раз, но вам я смогу ответить лишь через несколько дней. Только расскажите все еще раз! – крикнула я таким голосом, что моя подруга широко открыла глаза. – Есть такие пути, куда я сейчас еще не смею ступить.

А пока что я вернулась к тому, о чем она только что упоминала – к счастливой способности мальчика иной раз увильнуть от ответа.

– Если Квинт, по вашим словам, был простой слуга, то, как я догадываюсь, Майлс, между прочим, мог сказать вам, что и вы тоже служанка?

И снова ее согласие было настолько очевидным, что я продолжала:

– И вы ему это простили?

– А вы не простили бы?

– Да, простила бы!

Мы в молчании обменялись очень странной улыбкой. Потом я продолжала:

– Во всяком случае, когда он был с этим человеком...

– То мисс Флора была с этой женщиной. Им всем так было удобнее!

Мне это тоже было удобно, даже слишком, как я чувствовала: я хочу сказать, что все это в точности совпадало с особенно мрачной перспективой, которую я в ту минуту запрещала себе рассматривать. Но мне настолько удалось совладать с собой и не выразить своего мнения, что здесь я не стану этого объяснять, а приведу только мои последние слова к миссис Гроуз:

– Что он солгал и надерзил вам, надо сознаться, не слишком привлекательно, ведь я надеялась услышать от вас о его природной доброте. И все же эти примеры нужны; ведь они больше чем когда-либо напоминают мне, что я должна быть начеку.

В следующую минуту я так и вспыхнула, поняв по лицу моей подруги, что она уже простила мальчика без всяких оговорок, а ее рассказ давал мне возможность тоже простить его и проявить к нему нежность. Это стало мне ясно, когда она рассталась со мною у дверей классной.

– Ведь вы же не обвиняете его?...

– В том, что он скрывает от меня такие отношения? Ах, помните, что я уже никого не обвиняю, пока у меня нет иных доказательств. И, прежде чем закрыть за нею дверь в кори-



дор, ведущий к ее комнате, я заключила:

– Мне надо только ждать.

## IX

Я ждала и ждала, а дни шли за днями, понемногу унося с собой мою скованность страхом. В сущности, только очень немногие из этих дней проходили без новых событий, в постоянном общении с моими воспитанниками, но такие дни смывали, словно губкой, мучительные фантазии и ненавистные мне воспоминания. Я уже говорила о том, что я поддавалась необычайной детской грации моих питомцев, уже научившись культивировать это в себе, и неизменно обращалась к этому источнику за всем, что он мог дать мне. Разумеется, я не могу выразить словами, как странно мне было бороться с тем, о существовании чего я так недавно узнала; нет сомнения, эта борьба была бы сопряжена с еще большими усилиями, если бы она не так часто увенчивалась успехом. Бывало, я удивлялась, почему это мои маленькие питомцы не догадываются, как много странного я о них знаю и думаю; а то, что из-за всех этих странностей они казались только интереснее, не помогало мне держать их в неведении. Я дрожала при мысли, как бы они не заметили, что интересуют меня свыше меры. Во всяком случае, если даже предполагать самое худшее, как это часто случалось в моих размышлениях, всякое очернение невинности этих детей – непорочных и все же навеки осужденных – было лишним поводом для того, чтобы пойти на риск. Бывали минуты, когда я, пови-

нуясь непреодолимому толчку, вдруг схватывала их в объятия и прижимала к сердцу. И тут же я говорила себе: «Что они подумают? Не слишком ли я выдаю себя?» Было легко впасть в угрюмость, увязнуть в дикой путанице при мысли о том, не слишком ли много я могу выдать; но, как я чувствую, правдивый отчет о тех мирных часах, которые по-прежнему радовали меня, состоял в том, что непосредственная прелесть моих питомцев все же производила свое действие, даже при тени возможности, что они поступали с точным расчетом. Если мне и приходила мысль, что эти маленькие взрывы страстной любви к ним могут иной раз вызвать у них подозрения, то помню также, как я ломала голову над тем, нег ли чего-то странного в явно преувеличенных проявлениях их любви ко мне.

За это время они необычайно, сверхъестественно привязались ко мне, что, как мне казалось, было только грациозным откликом на мои чувства – откликом детей, которых постоянно ласкают и балуют. Знаки уважения ко мне, выказывать которые они не стеснялись, по правде сказать, действовали на меня благотворно, словно я не ловила детей на том, что они проявляют их намеренно. Никогда еще, кажется, не старались они так много для своей бедной покровительницы: мало того, что они учились все лучше и лучше, а это, разумеется, должно было ей очень нравиться, но развлекали, занимали ее и делали ей сюрпризы, читали ей вслух, рассказывали сказки, разыгрывали шарады; неожиданно наскокивали

на нее в костюмах исторических персонажей или зверей, а главное, изумляли ее "отрывками", которые они по секрету от нее выучивали наизусть и без конца декламировали. Я так никогда и не могла проникнуть в глубину (даже и теперь не могу) того удивительного секретного комментария и еще более удивительного секретного пересмотра, который зачеркивал для меня все их поведение. С самого начала они проявили способности ко всему, проявили легкость восприятия. И, взяв старт, снова и снова добивались замечательных результатов. Они делали свои незамысловатые уроки так, как будто любили их, и в силу своей одаренности проделывали чудеса, заучивая наизусть стихи и прозу. Они не только являлись передо мной тиграми или римлянами, но и героями Шекспира, астрономами и мореплавателями. Это было настолько странно, что я и по сию пору не могу найти иного объяснения: по-видимому, это было связано с моим неестественно безразличным отношением к тому, чтобы подыскать другую школу для Майлса. Помню только, что я решила оставить на время вопрос открытым, а это решение, вероятно, возникло потому, что ум его проявлялся все разительнее. Он был слишком умен, и плохая гувернантка, пасторская дочка, не могла ему повредить; самой необычной, если не самой яркой нитью в этой моей вышивке мыслями было впечатление (если б я посмела на нем остановиться), что его духовная жизнь находится под каким-то сильно возбуждающим влиянием. Если нетрудно было сделать вывод, что такому маль-

чику можно и не спешить со школой, то бросалось в глаза и то, что "выгнать" такого мальчика – более чем удивительно для учителя. Позвольте мне прибавить, что в их обществе – а я теперь старалась никогда не оставлять их – мне не удалось напасть на верный след. Мы жили в облаках музыки и любви, успехов и любительских спектаклей. Музыкальное чутье в каждом из них было чрезвычайно живым, но старший в особенности обладал удивительным даром схватывать и запоминать. Фортепьяно в классной комнате рассыпалось невообразимыми пассажами под его пальцами; а когда этого не было, то по углам комнаты шла болтовня, сочинялись сказки, и некоторым сказкам приделывался конец в самом веселом духе, для того чтобы поразить меня чем-то новым. Я сама тоже росла с братьями, и для меня не было открытием, что девочки иной раз рабски преклоняются перед мальчиками. Но вот нашелся на свете мальчик, который проявлял к слабому полу – более слабому и по возрасту и по разуму – столько утонченного внимания, что это превосходило всякое вероятие. Оба жили очень согласно, и сказать, что они никогда не ссорились и не жаловались друг на друга, значило бы воздать им слишком преувеличенную похвалу за их необычайную кротость. И в самом деле, иной раз, впадая в такое преувеличение, я замечала по некоторым признакам, что они договорились между собой, чтобы один из них отвлекал и занимал меня, пока другой ускользал куда-то. Во всякой дипломатии, мне кажется, есть "наивная" сторона, и

если мои питомцы и обманывали меня, то, конечно, с минимальной грубостью. И совсем в другом проявилось это свойство после временного затишья.

Мне кажется, что я и в самом деле топчусь на месте: мне надо решиться на этот шаг. Продолжая рассказ о той, что было омерзительного в усадьбе Блай, я не только бросаю вызов свободомыслию, что меня мало трогает, но – а это совсем другое дело – переживаю снова то, что мне пришлось перенести. Я снова прохожу весь мой путь до конца. Настал внезапно час, после которого, как мне кажется, когда я оглядываюсь на прошлое, все стало сплошным страданием; но я, по крайней мере, дошла до самой сути дела, а прямой путь к выходу есть, без сомнения, путь вперед. Однажды вечером – к этому вечеру ничто меня не подводило и не подготовляло – я ощутила такое же холодное дыхание, каким повеяло на меня в ночь моего приезда, но о нем, как более легком (о чем я уже говорила), у меня не осталось бы в памяти и следа, будь мое последующее пребывание в усадьбе менее тревожным. Я еще не ложилась, я сидела и читала при двух свечах. В усадьбе Блай была целая комната, полная книг – среди них и пользовавшиеся недоброй славой романы прошлого века, добиравшиеся кое-когда даже до нашего уединенного дома и взывавшие к любопытству моей неискушенной юности. Помню, что книга, которую я держала в руках, была "Амелия" Филдинга<sup>8</sup> и мне вовсе не хотелось спать. Далее

---

<sup>8</sup> Можно предположить, что именно притягивает внимание гувернантки в тек-

я припоминаю и общее впечатление: что время – страшно позднее, припоминаю и мое особенное нежелание взглянуть на часы. Наконец, мне казалось, что белый полог, драпировавший по моде того времени изголовье детской кровати, хранил полный покой Флоры, – в этом я была твердо уверена. Словом, хотя я и была погружена в чтение, однако же поймала себя на том, что, перевернув страницу и тем рассеяв все ее очарование, я оторвала глаза от книги и пристально посмотрела на дверь моей комнаты. Потом я прислушалась, вспомнив о том, как мне почудилось в ту первую ночь, будто где-то в доме творится что-то неуловимое, – и тут услышала слабый шорох раскрывающегося окна, задевшего полузадернутую штору. Со всей осторожностью, которая могла бы показаться великолепною, если б было кому ею восхищаться, я положила книгу на стол, встала и, захватив свечу, быстро вышла из комнаты в коридор, почти не осветившийся моей свечой, и, бесшумно прикрыв за собой дверь, заперла ее.

Теперь я уже не могу сказать, что привело меня к такому решению и что руководило мною, но я направилась прямо к вестибюлю и шла, высоко держа свечу, пока мне не стало видно высокое окно над крутым поворотом лестницы. И тут я мгновенно уяснила себе три вещи. В сущности, они совпа-

---

сте весьма популярного романа «Амелия» (Amelia, 1751) Генри Филдинга. Героиню романа, прекрасную Амелию, единственную защитницу двух маленьких детей, настойчиво преследуют два соблазителя – капитан Джеймс и некий милорд, чье имя так и не раскрывается. В начале романа Амелия переживает нервную горячку, едва не приведшую к умственному расстройству.

дали во времени, но следовали как вспышки одна за другой. Моя свеча погасла от резкого движения, и, подойдя ближе к незавешенному окну, я увидела, что она более не нужна в рдеющем предрассветном мраке. Еще мгновение – и без свечи мне стало видно, что на лестнице кто-то стоит. Я говорю о последовательности, но мне не понадобилось и секунды, чтобы укрепиться духом для третьей встречи с Квинтом. Призрак достиг площадки на середине лестницы и, значит, был всего ближе к окну и там остановился как вкопанный и вперил в меня такой же пристальный взгляд, каким смотрел с башни и из сада. Он узнал меня, так же как и я его узнала; и вот, в холодных, бледных предрассветных сумерках, под легким бликом света в верхнем стекле окна, падающим вниз на полированный дуб лестницы, мы стояли лицом к лицу, оба одинаково напряженные. Он был на этот раз совершенно живой – омерзительное и опасное существо. Но не это было чудом из чудес, такое определение я оставляю для совершенно иного обстоятельства, – чудо заключалось в том, что страх, несомненно, покинул меня и что все во мне было готово встретиться и помериться силами с Квинтом.

Я очень многое пережила после этой необычайной минуты, но, слава богу, во мне больше не было страха. И он знал, что я его не боюсь – через мгновение я в этом отлично убедилась. Я была твердо уверена, что если продержусь еще минуту, то мне не придется более – по крайней мере сейчас – считаться с ним; и в течение минуты встреча эта была так



же реальна и отвратительна, как встреча с живым человеком; отвратительна потому, что так бывает между людьми, когда поздней ночью в спящем доме встречаешь с глазу на глаз врага, грабителя, преступника. Именно мертвое молчание долгого нашего взгляда на таком близком расстоянии и придавало всему этому ужасу, как он ни был велик, единственную черту сверхъестественного. Если бы я встретила убийцу в этом месте и в этот час, мы, по крайней мере, заговорили бы. В жизни что-нибудь произошло бы между нами; если бы ничего не произошло, один из нас хотя бы шевельнулся. Мгновение длилось так долго, что еще немного, и я усомнилась бы, жива ли даже и я сама. Не могу объяснить, что случилось далее, скажу только, что самое молчание – которое, быть может, свидетельствовало о моей силе – стало той стихией, в которой растворился и исчез призрак. Я отчетливо видела: этот низкий негодяй повернулся так, как повернулся бы он при жизни, получив приказ своего господина, и, когда я провожала взглядом его подлую спину, которую даже горб не мог бы обезобразить сильнее, он сошел вниз по ступеням и далее во тьму, где терялся следующий поворот лестницы.

## X

Некоторое время я оставалась на верхней площадке, но вскоре поняла, что если мой гость ушел, то он ушел совсем, и тогда я вернулась к себе в комнату. Первое, что я заметила при свете свечи, которую оставила горячей, было то, что кровать Флоры пуста – и тут у меня перехватило дыхание от ужаса, который пять минут тому назад я еще была в силах преодолеть. Я бросилась туда, где оставила девочку спящей, к кровати, которую обманчиво драпировал белый полог (шелковое одеяльце и простыни были раскиданы в беспорядке); и тут мои шаги, к моему несказанному облегчению, вызвали ответное эхо: я заметила движение оконной шторы, и девочка, вся розовая и заспанная, вынырнула из-под нее. Она стояла передо мной во всей своей детской невинности, едва прикрытая ночной рубашкой, с розовыми голыми ножками и в золотом сиянии кудрей. Она смотрела очень серьезно, а у меня никогда еще не было такого чувства потери чего-то уже достигнутого и так недавно вызывавшего во мне радостный трепет, как тогда, когда она обратилась ко мне с упреком:

– Гадкая, где же вы были?

И вместо того, чтобы побранить ее за непослушание, оказалось, что я сама провинилась и должна объясняться. Она же объяснила все с самой прелестной, самой горячей искрен-

ностью. Лежа в кровати, она вдруг почувствовала, что меня нет в комнате, и вскочила посмотреть, куда я девалась. От радости, что она нашлась, я опустилась на стул, только тут почувствовав небольшую слабость; а Флора протопала ко мне и, примостившись у меня на коленях, позволила обнять себя, и пламя свечи падало прямо на чудесное личико, все еще розовое со сна. Помню, что я закрыла на секунду глаза, покорно, сознательно, словно перед потоком чудесного света, струившегося из глубокой синевы ее глаз.

– Ты искала меня, когда смотрела в окно? – спросила я. – Ты, может быть, думала, что я гуляю в парке?

– Да, я думала, что там кто-то гуляет. – Она даже не побледнела, с улыбкой преподнося это мне.

О, как я посмотрела на нее!

– И ты видела кого-нибудь?

– О, не-ет! – возразила она обиженно, пользуясь преимуществом ребяческой непоследовательности, но с милой ласковостью растягивая отрицание.

В ту минуту и при том состоянии, в каком находились мои нервы, я была совершенно уверена, что девочка лжет; и если я снова закрыла глаза, так это было перед ослепительным блеском трех или четырех путей, открывшихся мне. Один из этих путей в течение минуты искушал меня с такой необыкновенной силой, что, противясь искушению, я судорожно сжала мою девочку в объятиях, и удивительно, что она перенесла это без крика, без признаков испуга. Почему

тут же не объявить ей все сразу и не покончить с этим навсегда? Почему не сказать ей правду, глядя в это прелестное, озаренное светом личико? "Ты все понимаешь, ты видишь, и знаешь, что видишь, и ты давно уже подозреваешь, что и я в этом уверена; так почему же не признаться мне откровенно, чтобы мы, по крайней мере, могли вместе с тобой пережить все это и, быть может, узнать, что с нами творит наша странная судьба и что это значит?" Но моя мольба, увы, угасла так же, как и возникла: если б я в тот миг поддалась искушению, я бы избавилась... вы увидите сами от чего. Вместо того чтобы пойти по этому пути, я снова вскочила на ноги, взглянула на кроватку Флоры и избрала ни к чему не ведущий средний путь.

– Почему ты натянула полог над кроваткой? Это чтобы я подумала, будто ты все еще там?

Флора светло задумалась, потом ответила со своей боже-ственно легкой улыбкой:

– Потому что я не хотела пугать вас!

– Но ведь ты думала, что я вышла?...

Она решительно уклонилась от ответа и обратила взгляд на пламя свечи, как будто вопрос не шел к делу или был таким же безличным, как учебник мадам Марсе или девятью девять<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Гувернантка имеет в виду, что ее вопрос, обращенный к Флоре, едва ли вызвал больше эмоций, чем возможные вопросы по домашнему заданию, например, по таблице умножения. Миссис Джейн Марсе (1769 – 1858) – автор популярных учебников для начальной школы.

– Ах, знаете ли, милочка, – ответила она вполне резонно, – вы же могли вернуться, и ведь вы вернулись!

И немного погодя, когда Флора улеглась в кровать, мне пришлось долго сидеть вплотную к ней, крепко держа ее за руку, в доказательство того, что я чувствую, насколько кстати пришлось мое возвращение.

Можете себе представить, каковы были с тех пор мои ночи. Я постоянно бодрствовала бог знает до какого часа; я выбирала минуты, когда моя воспитанница несомненно спала, и, прокравшись в коридор, бесшумно обходила его дозором, добираясь до того самого места, где последний раз встретила Питера Квинта. Но больше я его там не встречала; могу тут же сразу сказать, что я больше никогда не видела его и в доме. На этой же лестнице я едва избежала совсем иного приключения. Однажды, глядя вниз с верхней площадки лестницы, я увидела женщину, которая сидела на одной из нижних ступеней, спиной ко мне, полусогнувшись и обхватив голову руками, в позе, выражавшей глубокую скорбь. Я простояла там, однако, не больше секунды, и она исчезла, ни разу не оглянувшись на меня. Тем не менее я знала точно, какое ужасное лицо она явила бы мне; а что, если, вместо того чтобы стоять наверху, я была бы внизу, нашлось бы у меня столько же храбрости, чтобы подняться по ступенькам, сколько я проявила не так давно, при встрече с Квинтом? Что ж, у меня по-прежнему оставалась возможность проявить мужество – и не раз. На одиннадцатую ночь после

моей встречи с ним – теперь все эти ночи были подсчитаны – я пережила тревогу, чуть ли не равную той, что грозила бы мне при новой встрече с Квинтом, и действительно, по своей совершенной неожиданности, сразившую меня сильнейшим потрясением. Это была первая ночь, когда, устав бодрствовать, я почувствовала, что могу снова лечь спать в привычный мой час, и это не будет неосмотрительно. Я быстро заснула и, как выяснилось впоследствии, проспала до часу ночи; но, проснувшись, сразу же села в кровати, совершенно стряхнув с себя сон, словно меня растолкала чья-то рука. Я оставила свечу горячей, но теперь она погасла, и я мгновенно почувствовала уверенность, что ее погасила Флора. Это заставило меня вскочить на ноги и броситься прямо к ее кровати, которая снова оказалась пуста. Взгляд, брошенный на окно, объяснил мне все, а вспыхнувшая спичка довершила картину.

Девочка опять встала с постели, на этот раз задув свечу, и опять – для того ли, чтобы подсмотреть за кем-то или подать кому-то знак, – забралась за штору и всматривалась оттуда во мрак ночи. Теперь она что-то видела, чего, как я убедилась, не могла увидеть в прошлый раз, – ибо ее не потревожила ни вновь зажженная мною свеча, ни та поспешность, с какой я надевала туфли и накидывала халат. Спрятавшись от меня за шторой, забыв обо всем на свете, она стояла на подоконнике – окно отворялось наружу – и неотрывно смотрела в сад. Луна, как бы в помощь ей, была полная, и это помогло

мне быстро принять решение. Флора стояла лицом к лицу с тем призраком, который мы встретили у озера, и теперь общалась с ним, что тогда ей не удалось. Мне же надо было, не потревожив ее, добраться через коридор до какого-нибудь другого окна с той же стороны дома. Она не услышала, как я вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь и прислушалась, не станет ли она говорить, не выдаст ли себя каким-либо звуком. Когда я стояла в коридоре, мой взгляд упал на дверь в комнату ее брата, всего в десяти шагах от меня, и вид этой двери неизвестно почему вновь вызвал во мне тот странный порыв, который я не так давно сочла искушением. Что, если я войду прямо к Майлсу в комнату и подойду к его окну? Что, если приведя мальчика в замешательство и рискуя обнаружить свои замыслы, я наброшу длинный аркан на то, что остается от тайны?

Эта мысль овладела мною настолько, что я подошла к порогу и снова остановилась, напряженно прислушиваясь; я представила себе все, что могло случиться ужасного; я спрашивала себя, не пуста ли и его кровать, не стоит ли и он, вот так же поджидая кого-то. Прошла беззвучная минута, и мой порыв угас. У мальчика тихо; быть может, он ни в чем не повинен; рисковать слишком страшно – я повернулась и ушла. В парке витал призрак – призрак, стремившийся привлечь к себе внимание, та гостя, с которой виделась Флора, но не тот гость, который более всего стремился к моему мальчику. Я снова заколебалась, но по иным причинам

и всего на несколько секунд, – и решилась. В доме много пустых комнат, и дело только в том, чтобы не ошибиться и выбрать нужную. Такая комната сразу нашлась в нижнем этаже – хотя и высоко над садом, – в том массивном углу дома, о котором я уже говорила как о старой башне. Это была большая квадратная спальня, убранная довольно пышно, и ее необычайный размер представлял такие неудобства, что она уже много лет пустовала, хотя миссис Гроуз и содержала ее в образцовом порядке. Я нередко любовалась ею и умела в ней ориентироваться; мне пришлось только вздрогнуть сперва от нежилого холода комнаты, пересечь ее, чтобы подойти к окну и как можно тише отворить ставень. Я без звука отвела ставень в сторону и, прижавшись лицом к стеклу, сразу увидела, ибо в саду было гораздо светлее, чем в комнате, что направление мною выбрано правильно. Затем я увидела и нечто иное. Свет луны придавал ночи необыкновенную прозрачность и показал мне на лужайке уменьшенную расстоянием фигуру, которая стояла неподвижно, словно зачарованная. глядя вверх, туда, где появилась я – то есть глядя не столько прямо на меня, сколько на нечто, находившееся, должно быть, надо мной. Видимо, еще кто-то был выше меня, кто-то стоял на башне; но фигура на лужайке ничуть не походила на ту, которую я ожидала и стремилась встретить. Фигурой на лужайке – мне стало дурно, когда я его узнала, – оказался не кто иной, как маленький Майлс.



# XI

На следующий день мне не пришлось говорить с миссис Гроуз до позднего часа – я неуклонно стремилась не выпускать из вида своих воспитанников, а это нередко мешало мне встретиться с нею наедине, тем более что обе мы чувствовали, как важно не вызвать подозрений ни у прислуги, ни у детей, что мы скрываем от них тревогу и о чем-то таинственно переговариваемся. Большую поддержку оказывал мне невозмутимый вид миссис Гроуз. В ее румянном лице не было ничего такого, что могло бы выдать окружающим тайну моих страшных признаний. Она верила мне безгранично, это я твердо знала: если б она не верила, не знаю, что случилось бы со мною, – я не могла бы вынести все это одна. Но эта женщина была великолепным монументом в честь блаженства неведения и недостатка воображения, и пока она видела в наших маленьких питомцах только красоту и очарование, только жизнерадостность и даровитость, она ведать не ведала всех источников моей беды. Вот если бы дети заметно похудели и приуныли, она, без сомнения, сама бы иссохла, ломая себе голову, что же с ними случилось; но когда она стояла, скрестив на груди полные белые руки, и глядела на детей с привычной невозмутимостью, мне невольно передавалась ее мысль: «Слава богу, хоть сами-то дети остались живы, а прочее пускай пропадает пропадом!» Спокой-

ное благодущие, уютное, подобно ровному жару домашнего очага, заменяло ей полеты фантазии, и я замечала иной раз, как наряду с убеждением, что наши птенчики могут и сами о себе промыслить, ее вдруг охватывала мелочная заботливость о несчастной их гувернантке. Для меня же это очень упрощало задачу: я могла надеяться, что мое лицо не выдаст меня окружающим и по нему никто ничего не заметит. Но при всех этих условиях для меня было бы огромным добавочным гнетом тревожиться еще и об ее умении скрывать свои чувства.

В тот час, о котором я рассказываю, она по моему настоянию присоединилась ко мне на террасе, где с переменной времени года приятно грело вечернее солнце. Мы сидели там вдвоем, в то время как дети в самом мирном расположении духа прогуливались перед нами в отдалении, но так, чтобы мы могли их окликнуть, если понадобится. Они шагали медленно, в ногу по лужайке, и мальчик на ходу читал вслух сказку, дружески обняв сестру. Миссис Гроуз следила за нами совершенно безмятежно; потом я уловила подавленный вздох, будто у нее мозги скрипнули: это она взывала ко мне, стараясь узнать, как я смотрю на обратную сторону медали. Я сделала ее хранилищем мрачных тайн, но было в ее терпеливой покорности моим мукам еще и странное признание моего превосходства – уважение к моим достоинствам и к моей должности. Она открывала свою душу моим разоблачениям, и если бы я, смешав колдовское зелье, протянула его

ей, она подставила бы мне большую чистую кастрюльку. Она укрепилась в этом, когда, рассказывая о событиях той ночи, я дошла до того, что Майлс говорил мне, когда я увидела его в такой невероятный час почти на том же самом месте, где он был теперь, и сошла вниз, чтобы привести его домой, избрав перед тем у окна скорее этот способ, чем более звучный зов, чтобы не потревожить никого в доме. Между тем у меня было мало надежды вызвать ее сочувствие, передав ей то ощущение истинного великолепия, то вдохновение, которым мальчик встретил мой словесный призыв, после того как я ввела его в дом. Как только я появилась в лунном свете на террасе, он подошел прямо ко мне; и тут я, не говоря ни слова, взяла его за руку и повела через темные места вверх по лестнице, туда, где Квинт так алчно подстерегал его, и дальше по коридору, где я прислушивалась, вся дрожа, и наконец в его покинутую комнату.

По дороге мы не обменялись ни словом, и я думала – о, как мне хотелось бы знать наверняка! – не ищет ли он своим скверным умишком какое-нибудь правдоподобное и не слишком нелепое объяснение. Конечно, придумать его было нелегко, и на этот раз я чувствовала за непритворным смущением мальчика странно торжествующую ноту. Это была хитрая ловушка для того, кто казался до сих пор неуловимым! Ему больше нельзя было играть в невинность, нельзя притворяться; так как же он теперь выпутается? Вместе со страстным биением этого вопроса во мне забился и немой

воплъ: а как выпутаюсь я сама? Я столкнулась наконец, как не сталкивалась еще никогда, со всем риском, и сейчас сопряженным с тем, что я упорствую в своем желании докопаться до конца. В самом деле, помню, как, ворвавшись в его комнату, где постель была даже не смята, а окно, открытое лунному свету, освещало комнату так ярко, что не стоило зажигать спичку, – помню, что я вдруг упала на край кровати, подкошенная мыслью, что он должен все понять, что он, как говорится, "поймал" меня. Призвав на помощь свою сообразительность, он мог делать что хотел, пока я буду по-прежнему уважать старое поверье, будто бы преступны те сторожа юных, которые поддаются вредным предрассудкам и страхам. Он и в самом деле "поймал" меня, да еще раздвоенной палкой, как змею; ибо кто сможет меня оправдать, кто согласится, что я не заслужила виселицы, если малейшим намеком я внесу такую страшную нотку в наше совершенное общение? Нет, нет, было бесполезно даже пытаться передать это миссис Гроуз, так же как и пытаться изложить здесь то, как в нашей краткой, решительной встрече во тьме он просто потряс меня своей выдержкой. Разумеется, я до конца держалась ласково и кротко; никогда, нет, никогда еще я не сжимала его хрупкие плечи с такой нежностью, как в ту минуту, когда, прислонившись к кровати, я допрашивала его. У меня не было другого выхода, наши отношения требовали, чтобы он заговорил сам.

– Ты должен сказать мне сейчас же – и всю правду. Зачем

ты выходил? Что ты там делал?

Я и сейчас вижу его удивительную улыбку, вижу, как блещут в сумраке его прекрасные глаза и приоткрытые ровные зубки.

– Если я вам скажу зачем, вы поймете?

Тут сердце у меня дрогнуло. Неужели он мне скажет? Губы мои не могли издать ни звука, и я ответила ему только неопределенным не то кивком, не то гримасой. Майлс был сама кротость, и, пока я кивала ему, он стоял передо мною более чем когда-либо похожий на сказочного принца. Одна только его веселость действительно принесла мне облегчение. Разве он был бы таким, если бы в самом деле собирался мне все рассказать?

– Хорошо, расскажу, чтобы вам было легче.

– Что легче?

– Думать, будто я плохой.

Никогда не забуду, как кротко и весело произнес он это слово, а еще как он наклонился ближе и поцеловал меня. Этим, в сущности, все и кончилось. Я приняла его поцелуй и, прижав его на минуту к груди, изо всех сил старалась не заплакать. Он рассказал о себе ровно столько, сколько было нужно, чтобы я не заглядывала далее, и, только сделав вид, что я это принимаю на веру, я смогла оглядеть комнату и сказать:

– Так ты совсем не раздевался?

В сумраке блеснула его улыбка.

– Совсем. Я сидел и читал.

– А когда же ты сошел вниз?

– В полночь. Когда я плохой, так уж по-настоящему плохой!

– Понимаю, понимаю; очень мило. Но почему же ты был уверен, что я об этом узнаю?

– О, я сговорился с Флорой.

Он отвечал с полной готовностью!

– Она должна была встать с постели и выглянуть в окно.

– Так она и сделала!

– Значит, я попала в ловушку!

– Вот она и разбудила вас, а вы, чтобы посмотреть, на что она глядит, тоже выглянули – и увидели меня.

– А тем временем ты, должно быть, простудился насмерть от ночной сырости!

Он буквально расцвел после своего подвига и сказал, просяив улыбкой:

– А как бы иначе мне удалось стать таким плохим? – И после еще одного объятия и этот эпизод, и наш разговор закончились тем, что я поверила в глубину добродетели, из которой он мог почерпнуть эту свою шутку.

## XII

То особенное впечатление, которое я пережила ночью, при свете дня оказалось не вполне приемлемым для пересказа миссис Гроуз, хотя я подкрепила его, упомянув еще одно замечание Майлса, сделанное им перед тем, как мы расстались.

– Оно состоит всего из нескольких слов, – сказала я ей, – но таких слов, которые решают дело. "Подумайте только, что я мог бы сделать!" Он бросил это мне, чтобы показать, какой он хороший. Он отлично знает, что он "мог бы" сделать. Вот это он и дал им почувствовать и школе.

– Господи, как вы меняетесь! – воскликнула моя подруга.

– Я не меняюсь, я только хочу что-то доказать. Будьте уверены, эти четверо постоянно видятся. Если бы вы в одну из последних трех ночей были с Майлсом или с Флорой, вы бы, конечно, все это поняли. Чем дольше я слежу и выжидаю, тем сильнее я чувствую, что если ни на чем другом их не поймашь, то упорное молчание их обоих говорит само за себя. Никогда, даже просто оговорившись, не намекнули они хотя бы на одного из своих старых друзей, точно так же как Майлс ни разу не заикнулся о своем исключении из школы. О, да, мы можем отсюда любоваться ими, а они могут там ломать комедию, сколько им угодно; но даже когда они прикидываются, будто увлечены сказкой, они созерцают вернувшихся к

ним мертвецов. Майлс вовсе не читает Флоре, – сказала я, – они говорят о них – говорят что-то кошмарное! Я знаю, что твержу одно и то же, как сумасшедшая, и надо удивляться, что я еще в здравом уме. Если бы вы видели то, что видела я, вы бы не выдержали. Но я только стала проницательнее – это помогло мне узнать и еще кое-что.

Моя проницательность, должно быть, испугала ее, но прелестные крошки, жертвы этой проницательности, которые ходили, кротко обнявшись, взад и вперед по лужайке, оказывали моей товарке какую-то поддержку, и я чувствовала, как цепко она за них держится, когда, ничем не противясь вспышке моего гнева, она безмолвно провожала их взглядом.

– О чем же еще вы узнали?

– Да все о том же, что восхищало, пленяло меня, и все же, в глубине души, как я теперь ясно вижу, озадачивало и смущало. Их неземная красота, их совершенно неестественная кротость. Это все игра, – продолжала я, – это все хитрость и обман!

– Это у таких-то милых деток?...

– Пока еще только прелестных малышек? Да, как это ни кажется нелепо! – Такое разоблачение помогло мне во всем разобраться и связать все воедино. – Они вовсе не такие кроткие и тихие, они просто-напросто отсутствуют. С ними легко ладить, потому что они живут своей особой жизнью. Они не мои и не ваши. Они принадлежат ему, они принад-



лежат ей.

– Квинту и той женщине?

– Квинту и той женщине. И тот и другая хотят завладеть ими.

О, как бедная миссис Гроуз впилась в детей взглядом при этих моих словах!

– Но ради чего же?

– Из любви к тому злу, которое оба они посеяли в детях в те страшные дни. И ради этого оба они и возвращаются сюда, чтобы и дальше нагнетать в них зло, чтобы довершить свою дьявольскую работу.

– Господи! – прошептала моя подруга.

Восклицание было самое простодушное, но в нем слышалось несомненное приятие того, что должно было произойти в будущем, в самое тяжелое для нас время – да, было время и хуже нынешнего! Ничто другое не могло быть для меня лучшей поддержкой, чем простое согласие ее с моим мнением о глубокой порочности той пары негодяев.

Явно подчиняясь воспоминаниям, она произнесла спустя минуту:

– Они оба и вправду были подлые! Но что могут они сделать теперь?

– Что могут сделать? – отозвалась я так громко, что Майлс и Флора, гулявшие в отдалении, остановились и взглянули на нас. – Разве мало они делают? – спросила я, понизив голос, а дети, с улыбкой кивнув нам и послав воздушный поцелуй,

продолжали притворяться и дальше. Мы помолчали; потом я ей ответила: – Они могут погубить детей!

Моя товарка обратилась ко мне с вопросом, но вопрошала она без слов, и это заставило меня высказаться определеннее.

– Они еще не знают, как погубить их, но прилагают к тому все силы. Они являются, так сказать, только по ту сторону и поодаль – в необычных местах, на высоте, на верху башни, на кровле дома, за окном, на дальнем берегу пруда; но и у него и у нее виден тайный умысел: сократить расстояние и преодолеть препятствие, и успех искусителей зависит только от времени. Им остается только внушать детям мысль об опасности.

– Чтобы они пришли к ним?

– И погибли при этой попытке.

Миссис Гроуз медленно поднялась на ноги, а я нерешительно прибавила:

– Если, конечно, мы не сможем помешать им!

Стоя передо мной – я осталась сидеть, – она, видимо, обдумывала положение.

– Помешать должен их дядя. Ему надо увезти отсюда детей.

– А кто же его заставит?

Ее взгляд был устремлен в пространство, но тут она повернула ко мне свое растерянное лицо.

– Вы, мисс.

– Написав ему, что дом его полон заразы, а малолетние племянники сошли с ума?

– Но если оно так и есть, мисс?

– Значит, и я тоже, хотите вы сказать? Очаровательные вести получит он от гувернантки, первая обязанность которой – не беспокоить его.

Миссис Гроуз задумалась, снова провожая взглядом детей.

– Да, он не любит, чтоб его беспокоили. Вот по этой-то причине...

– Оба эти демона так долго обманывали его? Без сомнения, хотя он и сам, надо полагать, был предельно равнодушен ко всему. А так как я, во всяком случае, не демон, то я его не стану обманывать.

После этого моя подруга, вместо всякого ответа, снова села и крепко сжала мою руку.

– Во всяком случае, заставьте его приехать к вам.

Я удивленно взглянула на нее.

– Ко мне? Его? – И вдруг меня испугало то, что она могла бы сделать.

– Он должен быть здесь... должен помочь. Я быстро встала, и думаю, что никогда еще она не видела у меня такого странного выражения лица.

– Вы представляете себе, как это я приглашу его приехать?

Нет, глядя на меня, миссис Гроуз, очевидно, была неспо-

собна на это. Но представить себе то же, что и я, она могла (одна женщина всегда понимает другую): его иронию, его улыбку, его презрение к тому, что я оказалась слаба наедине сама с собой, и к хитрой механике, которую я пустила в ход, чтобы привлечь его внимание к моим незамеченным достоинствам. Миссис Гроуз не знала – и никто не знал, – с какой гордостью я служила ему и держалась наших условий, и тем не менее она, как я думаю, оценила мое предостережение: – Если вы настолько потеряете голову, что обратитесь к нему из-за меня...

Она и вправду испугалась:

– Да, мисс?

– Я немедленно брошу и его и вас.

## XIII

Детей ничего не стоило подозвать, но говорить с ними оказалось выше моих сил – на близком расстоянии это было так же непреодолимо трудно, как и раньше. Так продолжалось около месяца, с новыми осложнениями и новыми нотками, и самое главное – слегка ироническое отношение ко мне моих воспитанников становилось все заметнее и заметнее. И теперь, как и тогда, я уверена, что это отнюдь не одна только моя inferнальная фантазия: не трудно было заметить, что оба они отлично видят, как мне тяжело, и что такие странные отношения надолго создали необычную атмосферу вокруг нас. Я не хочу сказать, что дети подсмеивались надо мною или вели себя грубо, потому что отнюдь не это грозило им: я хочу сказать, что элемент неназываемого и неприкасаемого стал для нас значить более, нежели всякий другой, и что было бы трудно избежать очень многого, если бы не наш молчаливый уговор не касаться многих вещей. Без конца между нами возникали темы, которые заставляли нас круто остановиться, словно перед дверью, ведущей в тупик, и вдруг захлопнуть ее со стуком, и, услышав этот стук, мы переглядывались, ибо он, как и всякий неожиданный звук, был громче, чем нам хотелось бы, – стук двери, которую мы неосторожно открыли. Все дороги ведут в Рим, и временами нас поражало, что почти каждый урок, почти каждый раз-

говор неизбежно касался запретной темы. Запретной темой был вопрос о том, возвращаются ли мертвые вообще, и особенно о том, что могло сохраниться у детей в памяти о друзьях, которых они потеряли. Бывали дни, когда я могла бы поклясться, что один из них, почти незаметно подтолкнув другого, словно говорил: «Она думает, что на этот раз ей удалось – как бы не так!» А моя «удача» заключалась в том, например, чтобы позволить себе прямое упоминание о той, которая воспитывала их до меня. Они рады были без конца слушать эпизоды из моей собственной биографии, которыми я постоянно развлекала их; они уже прекрасно знали все, что когда-либо случалось со мною, знали со всеми подробностями самые незначительные из приключений моих, а также и моих братьев и сестер, нашей кошки и собаки и множество странностей в характере моего отца, знали всю обстановку нашего дома, все разговоры наших деревенских старух. Находилось, однако, еще много такого, о чем можно было рассказывать, если только болтать без умолку и знать, где сделать поворот. Со свойственным им искусством они дергали веревочки моей памяти и моей изобретательности; и, когда я вспоминала о таких моментах, быть может, ничто другое не вызывало во мне подозрения, что за мной тайно наблюдают. Во всяком случае, мы могли разговаривать свободно только о моей жизни, о моем прошлом, о моих друзьях – и это иногда заставляло детей ни с того ни с сего пускаться в любезности. Меня просили – без видимой связи – повторить еще раз

знаменитое слово матушки Гослинг<sup>10</sup> или подтвердить уже известные им подробности насчет ума пасторского пони.

Частью в таких обстоятельствах, а частью совсем в иных, при том обороте, какой приняли мои дела, для меня становилось особенно ощутимо, что я попала в ловушку, как это у меня называлось. То, что дни проходили за днями без новых встреч, казалось, должно было бы успокоить мои нервы. После короткого столкновения с призраком женщины у подножия лестницы я не видела больше ничего, ни в доме, ни вне дома, ничего такого, чего лучше было бы вовсе не видеть. Много было углов, за которыми я ожидала столкнуться с Квинтом, и много таких мест, которые, по их зловещей мрачности, благоприятствовали бы появлению мисс Джессел. Лето повернуло к концу, потом лето прошло; на усадьбу Блай спустилась осень и погасила половину нашего света. Усадьба, с ее серым небом, увядшими гирляндами и обнаженными далями, усыпанная мертвыми листьями, была похожа на театр после спектакля, сплошь усеянный смятыми программками. Было точно то же состояние воздуха, та же смена шума и тишины, те же неуловимые впечатления – и все это создавало ту же обстановку, в которой я впервые увидела Квинта в тот июньский вечер в саду, а в другой раз, заметив его в окно, напрасно искала его потом в кустарнике.

---

<sup>10</sup> Остается неизвестным, что за «слово» (в оригинале *фр. mot*) имеется в виду. Можно предположить, что подразумевается какой-нибудь детский стишок из «Матушки гусыни».

Я узнала все эти знаки, все эти предвестники, – я узнала и время и место. Но они оставались пустыми и не сопровождались ничем, и я шла дальше спокойно, если можно назвать спокойной молодую женщину, чувствительность которой не ослабилась, но обострилась самым странным образом. Беседуя с миссис Гроуз, я рассказала ей о той ужасной сцене с Флорой у озера и озадачила ее, признавшись, что с этой минуты мне горше будет потерять мою способность видеть, чем сохранить ее. Я тогда выразила словами то, что так ярко стояло передо мною: видели дети или нет – это еще не было определено доказано. Я была готова узнать самое худшее из того, что мне еще предстояло узнать. У меня вдруг возникло страшное опасение: а что, если на глазах моих лежала печать как раз тогда, когда глаза детей были всего зорче. Да, мои глаза, видимо, оставались закрыты и теперь – благодать, за которую было бы богохульством не славить бога. Но, увы, в этом была и своя трудность: я бы восславляла его от всей души, если бы не была убеждена в том, что у моих питомцев есть тайна.

Как могу я теперь проследить шаг за шагом ход моей странной одержимости? Бывали времена, когда мы сидели вместе, и я готова была поклясться, что буквально на моих глазах, однако незримо и нечувствительно для меня, их посещали гости, знакомые и желанные. Вот тогда и могло случиться, что прорвалось бы мое возбуждение, если б меня не останавливала мысль, что это будет еще опаснее, чем отве-



сти опасность. "Они здесь, они здесь, несчастные вы дряни, и вы от этого не отопретесь!" – воскликнула бы я. "Несчастные дряни" отрицали это усиленной общительностью и нежностью, в хрустальных глубинах которой, подобно сверканию рыбки и ручье, проскальзывала насмешка превосходства. По правде сказать, удар проник глубже, чем я думала, в ту ночь, когда, выглянув в окно, чтобы увидеть при свете звезд Питера Квинта или мисс Джессел, я узрела мальчика, чей покой я охраняла, и он немедленно перевел на меня свой взгляд, который притягивал с вершины башни отвратительный призрак Квинта. Суть была в страхе, мое открытие на этот раз испугало меня более, чем когда-либо, и в этом-то раздражении нервов, порожденном испугом, я и сделала свои выводы. Эти выводы так тревожили меня иногда, что в некоторые минуты я запиралась у себя в комнате, чтобы повторить вслух, каким образом я смогу заговорить начистоту, – это было одновременно и фантастическим облегчением и вызывало новый припадок отчаяния. Я металась, выбирая то один, то другой подход к делу, но всегда отступала и падала духом: мне казалось чудовищным произнести вслух имена. Они замирали у меня на губах, и я говорила себе, что, произнося имена призраков, я и в самом деле помогла бы им в чем-то бесчестном и нарушила бы, вероятно, инстинктивную деликатность, всегда царившую в нашей классной комнате. Когда я говорила себе: "Дети благовоспитанны, они молчат, а ты, облеченная доверием, имеешь низость говорить!" – то

чувствовала, что краснею, и закрывала лицо руками. После этих тайных переживаний я пускалась болтать пуще прежнего, и все шло довольно гладко, пока не начиналась одна из наших удивительно ощутимых пауз – я не могу назвать их иначе – странное, головокружительное всплывание или взлет в тишину, остановка всей жизни, не имеющей ничего общего с тем шумом, который мы поднимали в эти минуты. Этот взлет я слышала сквозь повышенную веселость, оживленную и громкую декламацию или еще более громкое бречанье на фортепьяно. И это значило, что те, посторонние, присутствовали здесь. Хотя они были не ангелы, они, как говорится, "пребывали", заставляя меня дрожать от страха, как бы они не обратились к своим юным жертвам с еще более inferнальной вестью, как бы не предстали перед ними более отчетливо, чем передо мной.

От чего совершенно невозможно было отделаться, так это от жестокой мысли: что бы я ни видела, Флора и Майлс видели больше моего – видели нечто кошмарное, неугаданное мной и исходившее от страшного общения с ними в прошлом. Все это, естественно, оставляло на поверхности струю холода. А мы громогласно заявляли, что не чувствуем его, и все трое, мы, повторяя это раз за разом, великолепно научились машинально отмечать конец явления, подчиняясь одним и тем же порывам. Во всяком случае, поразительно было, что дети непременно бросались меня целовать, а потом, совсем без всякой связи, но неизменно то он, то она задава-

ли мне вопрос – тот заветный вопрос, который помог нам избежать столько опасностей. "Как, по-вашему, когда он наконец приедет? Вы не думаете, что нам надо ему написать?" Мы нашли по опыту, что ничто другое не сглаживает так неловкость, как этот вопрос. "Он", конечно, был их дядя с Гарлей-стрит; и мы жили, теоретически считая очень вероятным, что он с минуты на минуту может появиться в нашем кругу. Невозможно было менее поощрять эту теорию, чем поощрял ее он, но без нее мы лишили бы друг друга лучших проявлений наших чувств. Он никогда не писал детям, быть может, это был эгоизм, и в то же время лестное доверие ко мне: ибо тот способ, каким мужчина проявляет высшее уважение к женщине, бывает только более торжественным проявлением одного из священных законов, охраняющих его комфорт, – и я считала, что следуя духу данного мною обета не обращаться к нему, когда внушала своим питомцам, что их собственные письма всего только очаровательные литературные упражнения. Эти письма были слишком хороши, чтобы отправлять их по почте: они и посейчас у меня. Такое обыкновение на деле только усиливало иронический эффект, когда меня забрасывали предположениями, что он может в любой момент оказаться среди нас. Будто мои питомцы знали, насколько тогда стало бы труднее для меня. Более того, когда я оглядываюсь на прошлое, мне кажется, что самым необыкновенным во всем этом был тот простой факт, что я никогда не раздражалась на них вопреки своей напря-

женности и их торжеству. Должно быть, они и вправду были прелестны, думается мне теперь, если уж я не возненавидела их в то время! Неужели раздражение в конце концов все же прорвалось бы у меня, если бы помощь не пришла так скоро? Но не все ли это равно, ибо помощь пришла. Я называю это помощью, хотя она принесла лишь такое облегчение, какое приносит гроза в душный день или внезапная разрядка при напряжении. По крайней мере, это была перемена, и она пришла неожиданно и мгновенно.

## XIV

В одно воскресное утро, направляясь в церковь, я шла рядом с Майлсом, а впереди была миссис Гроуз с его сестрой – мы их отлично видели. День был свежий, ясный, первый из многих, ожидающих нас впереди; с ночи слегка морозило, и в бодрящем осеннем воздухе почти весело звучали колокола. Не странно ли, что в такую минуту меня больше всего занимало и даже трогало, вызывая чувство благодарности, послушание моих маленьких воспитанников. Почему они никогда не противились моему неуклонному, моему вечному присутствию? Что-то говорило мне, что я слишком опекаю мальчика, и, судя по тому, как мои спутницы чинно шествовали впереди, меры против возможного бунта были мною приняты. Я походила на тюремщика, готового к неожиданностям и побегам. Но все это относилось – я хочу сказать, их великолепная капитуляция – как раз к тому особенному строю событий, который был самым ужасным. В воскресном наряде работы дядюшкиного портного, которому дана была полная воля и который имел пристрастие к изящным жилетам и уважал величие своего маленького заказчика, у Майлса был настолько независимый вид, он настолько явно признавал себя взрослым мужчиной и вельможей, что, если бы он вдруг потребовал для себя свободы, я бы не нашлась, что ответить. По странной игре случая в ту минуту я размышляла,

как мне быть, если произойдет неминуемый переворот. Называю это переворотом, потому что вижу теперь, как с первым же словом мальчика поднялся занавес над последним действием моей драмы, и катастрофа ускорилаь.

– Послушайте, дорогая, – очаровательно начал он, – скажите, пожалуйста, когда же все-таки я вернусь в школу?

На бумаге эта фраза кажется довольно безобидной, особенно произнесенная нежным, тоненьким голоском и небрежным тоном, каким он говорил, бросая интонации, словно розы, со всеми собеседниками, а особенно с вечной своей гувернанткой. В этих интонациях было что-то такое, отчего собеседник всегда "попадался"; попалась и я, и притом настолько основательно, что сразу остановилась как вкопанная, словно одно из деревьев парка упало мне поперек дороги. И тут же между нами возникло нечто новое; он прекрасно понимал, что я это чувствую, хотя оставался таким же простодушным и обаятельным, как и всегда. Я не сразу нашла ответ и поняла, что он видит в этом свое преимущество. Я так замешкалась в поисках нужных слов, что у него хватило времени спустя минуту улыбнуться своей искательной и все же неопределенной улыбкой и сказать:

– Знаете ли, моя дорогая, быть всегда с дамой для мальчика...

В разговоре со мной слова "моя дорогая" не сходили у него с языка, и ничто не могло бы выразить точнее тот оттенок чувства, который мне хотелось внушить моим воспи-

танникам, чем ласковая фамильярность этих слов. Они были так непринужденно почтительны.

Но как остро я почувствовала, что сейчас должна выбирать выражения особенно осторожно! Помню, я постаралась засмеяться, чтобы выиграть время, и подметила на этом прекрасном лице, какое впечатление произвел на мальчика мой странный, отталкивающий вид!

– И всегда с одной и той же дамой? – спросила я. Он даже не поморщился и не сморгнул. В сущности, между нами все стало ясно, все раскрылось.

– Да, конечно, она самая настоящая леди, но в конце концов ведь я же мальчик, как вы не понимаете... который... ну, растет, что ли.

Минуту я постояла с ним и ласково ответила:

– Да, ты растешь.

Но какой беспомощной я себя чувствовала! До сего дня у меня осталась убийственная мысль, что он, видимо, понимал это и забавлялся этим.

– И ведь вы не можете сказать, что я плохо себя вел, правда?

Я положила руку ему на плечо – я чувствовала, что лучше было бы идти дальше, но не в силах была сделать ни шагу.

– Нет, Майлс, этого я не могу сказать.

– Кроме, знаете ли, той одной ночи!...

– Той одной ночи? – Я не могла смотреть на него так же прямо, как он смотрел на меня.

– Ну да, когда я сошел вниз и вышел из дома.

– Ах, да. Но я не помню, зачем ты это сделал.

– Не помните? – Он говорил с милой капризностью ребяческого упрека. – Да для того, чтобы показать вам, что я могу быть и таким.

– Да, разумеется!

– Я и теперь могу.

Я подумала, что мне, быть может, удастся сохранить самообладание.

– Разумеется. Но ты этого не сделаешь.

– Да, то уже не повторится больше. То были сущие пустяки.

– То были пустяки, – сказала я. – Однако нам пора в церковь.

Взяв меня под руку, он двинулся со мной дальше.

– Так когда же я вернусь в школу? Я обдумывала свой ответ с самым авторитетным видом.

– Тебе было хорошо в школе?

Он слегка призадумался.

– Мне везде неплохо.

– Ну, что ж, если тебе и здесь неплохо... – произнесла я дрожащим голосом.

– Да, но это еще не все! Конечно, вы очень много всего знаете...

– Но ты намекаешь, что и сам знаешь, пожалуй, не меньше? – отважилась я заметить, когда он замолчал.



– И половины того не знаю, что хотел бы знать, – честно сознался Майлс.

– Но дело не только в этом.

– В чем же тогда?

– Ну... я хочу видеть жизнь.

– Понимаю, понимаю...

Мы дошли до места, откуда видны были церковь и люди на пути туда, в том числе несколько слуг из усадьбы, которые толпились у входа, ожидая нас. Я прибавила шагу; мне хотелось уже быть в церкви, прежде чем разговор между нами зайдет дальше; я жаждала того часа, когда ему придется молчать, и мечтала о тихом сумраке церковной скамьи и о почти духовной поддержке подушечки, на которой можно будет преклонить колени. Мне казалось, что я прямо-таки бегу от смятения, в которое он вот-вот ввергнет меня; но он меня опередил, когда, перед самым входом на церковный двор, вдруг бросил:

– Мне нужно быть с такими, как я!

Это буквально заставило меня рвануться вперед.

– Таких, как ты, немного, Майлс! – И я засмеялась. – Разве только милая малютка Флора!

– Вы и в самом деле равняете меня с маленькой девочкой?

Тут я ощутила, что позиция моя слаба.

– А разве ты не любишь нашу милую Флору?

– Если бы я ее не любил... и вас тоже. Если бы я не любил!... – повторил он, словно отступая для прыжка, но так

явно не договаривая, что, когда мы вошли за ограду, нам понадобилась еще одна остановка, и он заставил меня остановиться, крепко сжав мою руку. Миссис Гроуз и Флора уже пошли в церковь, остальные молящиеся последовали за ними, а мы на минуту остались одни в тесноте старых могил. Мы остановились на дорожке, идущей от ворот к церкви, у низкой, продолговатой, похожей на стол могильной плиты.

– Да, так если бы ты нас не любил?...

Я ждала ответа, а Майлс в это время оглядывал могилы.

– Ну, вы же сами знаете!

Но он не двинулся с места и спустя секунду произнес нечто такое, от чего я так и села на каменную плиту, словно для отдыха.

– А мой дядя думает так же, как и вы?

Я ответила далеко не сразу.

– Откуда ты знаешь, что я думаю?

– Ну, конечно, я этого не знаю, потому что вы мне никогда ничего не говорите. Я хочу сказать, разве он знает?

– Что он знает, Майлс?

– Ну как же, про мои успехи.

Я сразу поняла, что на этот вопрос мне придется ответить, до некоторой степени пожертвовав своим патроном. Однако мне казалось, что все мы, живущие в усадьбе Блай, принесли ему довольно жертв, и потому моя жертва будет прощательной.

– Не думаю, чтобы твоего дядю это очень заботило.

Тут Майлс остановился и взглянул на меня.

– А вы не думаете, что его можно будет заставить?...

– Каким образом?

– Ну, пусть он сюда приедет.

– А кто же заставит его приехать?

– Я его заставлю! – сказал мальчик с необычайной живостью и силой. Он опять бросил на меня выразительный взгляд и один пошел к церкви.

## XV

Дело было, в сущности, решено с той самой минуты, как я не пошла за Майлсом в церковь. Это была жалкая капитуляция перед охватившей меня тревогой, но то, что я это сознавала, нисколько не помогало мне собраться с силами. Я просто сидела на могильной плите и старалась понять слова нашего юного друга в полном их значении, и, вникнув в них до конца, я придумала и предлог для моего отсутствия – мне было стыдно подать такой пример моим воспитанникам и остальной пастве. Самое главное, говорила я себе, Майлс выведет что-то у меня, и доказательством ему послужит как раз этот внезапный приступ слабости. Он выведет у меня, что есть нечто такое, чего я очень боюсь, и, вероятно, воспользуется этим моим страхом для того, чтобы, преследуя свою цель, добиться большей свободы. Я боялась подступить к щекотливому вопросу о том, почему его исключили из школы, так как мой вопрос, в сущности, коснулся бы кошмаров, таившихся за всем этим. Строго говоря, я должна была желать, чтобы его дядя приехал и все со мной обсудил, но у меня до такой степени не хватало сил встретить лицом к лицу этот ужас и муку, что я просто оттягивала решение и жила со дня на день. Мальчик был в высшей степени прав, и мне было больно сознавать это. Он мог сказать: «Либо выясните вместе с моим дядей, почему так загадочно прерваны

мои занятия в школе, либо не ждите, что я так и буду вести здесь образ жизни, неестественный для мальчика». Что было неестественно именно для нашего мальчика, порученного моим заботам, так это внезапное понимание происходящего и тайный умысел.

Вот это, в сущности, и подкосило меня, это и помешало мне войти в церковь. Я обошла ее, обуреваемая нерешительностью и сомнениями; я думала, что уже непоправимо повредила себе в его глазах. И, следовательно, я не могу ничего исправить, а для того, чтобы втиснуться на скамью рядом с ним, нужно было пересилить себя: он обязательно коснется моей руки и заставит просидеть более часа в тесном соприкосновении, как бы выслушивая его безмолвное толкование нашего разговора. Впервые после приезда мальчика мне хотелось уйти от него. Когда я остановилась под высоким восточным окном церкви и прислушалась к звукам церковной службы, меня охватил порыв, который мог бы совершенно завладеть мною, если бы я дала себе хоть сколько-нибудь воли. Легче всего положить конец этим мучениям и уйти совсем. Случай был удобный – остановить меня было некому, я могла все бросить, повернуться и убежать. Стоило только поспешить для кое-каких сборов в дом, из которого почти все слуги ушли в церковь, оставив его полупустым. Короче говоря, никто не осудил бы меня, если бы я сбежала, доведенная до отчаяния. Но ради чего уходить всего лишь до обеда, часа на два, на три, по прошествии которых мои

воспитанники – я это остро предчувствовала – изобразили бы невинное удивление, что меня не было в их свите. "Что вы наделали, вы, гадкая, нехорошая мисс? Зачем было так тревожить нас – да еще, знаете ли, отвлекать наши мысли от молитвы? Ведь вы сбежали от нас у самых дверей?" Я не в силах была ни отвечать на их вопросы, ни смотреть в их милые лживые глазки, однако именно это меня и ждало, и, предвидя такую перспективу, я поддалась искушению.

Я бежала, во всяком случае в ту минуту решение таким и было; я вышла из церковной ограды и, напряженно думая, вернулась домой по той же дороге через парк. К тому времени, как я дошла до дому, мне казалось, что мое решение окрепло. Воскресная тишина и вокруг дома, и в стенах его, где я никого не встретила, подхлестнула во мне сильное желание воспользоваться удобным случаем. Если уйти быстро, тогда все обойдется без сцен, без единого слова. Однако мне надо было собраться быстрее быстрого, и, самое главное, как достать экипаж. Помню, что в холле, терзаемая всеми этими трудностями и препятствиями, я опустилась на лестницу в самом низу ее – в изнеможении села на нижнюю ступеньку и тут же с отвращением вспомнила, что именно здесь более месяца тому назад в ночной темноте я видела призрак, видела ужаснейшую женщину, точно так же согбенную под бременем зла. Эти воспоминание заставило меня выпрямиться, я дошла до верхней площадки и в замешательстве направилась в классную, где осталось кое-что из моих вещей, кото-

рые мне нужно было захватить. Но стоило мне только отворить дверь, как пелена с глаз моих упала. То, что я увидела там, заставило меня отпрянуть назад и пробудило во мне мгновенную решимость сопротивляться.

В ярком полуденном свете я увидела сидящую за моим столом женщину и приняла бы ее, с первого взгляда, за служанку, которая осталась дома для уборки и, пользуясь редкой свободой от присмотра, села за школьный стол и взяла мои чернила, перья и бумагу, чтобы с немалым трудом написать письмо своему милому. Чувствовалось усилие и в том, как, оперевшись локтями на стол, она с заметной усталостью поддерживала руками голову; но в тот же момент до меня дошло, что, несмотря на мое появление, она оставалась в той же позе. И тут – она переменяла позу, и меня словно озаорило – я узнала ее сразу. Она поднялась, но не потревоженная моим присутствием, а в величии своей глубокой печали, полной равнодушия и отчужденности, и встала в десяти шагах от меня в облике моей мерзкой предшественницы. Опозоренная, трагическая, она была вся передо мной; но, пока я смотрела на нее, стараясь запомнить ее черты, страшное видение исчезло. Темная, как полночь, в черном платье, с горестным, страдальческим выражением прекрасного лица, она посмотрела на меня, словно говоря, что ее право сидеть за моим столом ничуть не меньше моего права сидеть за ее столом. Пока эти мгновения длились, меня пронзило странным холодом чувство, что это я здесь незваная гостья. Бурно

восстав против этого и прямо к ней обращаясь, я крикнула: "Вы ужасная, жалкая женщина!" – и услышала собственный крик; через открытую дверь он разнесся по коридору и дальше по всему пустому дому. Она посмотрела на меня так, будто слышала мой крик, но я уже пришла в себя и замолчала. Через минуту в комнате не было ничего, кроме солнечного сияния и чувства, что мне должно здесь остаться.



## XVI

Я была совершенно уверена, что возвращение моих питомцев будет отмечено шумным проявлением чувств, и опять разволновалась, когда увидела, что они замалчивают мое отсутствие. Вместо того чтобы шутливо упрекать меня и ласкаться ко мне, они даже не обмолвились о том, что я их бросила, и видя, что и миссис Гроуз тоже молчит, я стала вглядываться в странное выражение ее лица. Я была уверена, что они чем-то купили ее молчание, однако я решила нарушить его при первом же удобном случае. Такой случай выдался перед чаем: я улучила пять минут наедине с ней в ее комнате, когда уже смеркалось и пахло свежеиспеченным хлебом, но у нее все уже было прибрано, царил полный порядок, и она сидела перед камином в тягостном раздумье. Такой я вижу ее и сейчас, такой она лучше всего представляется мне, глядящей в огонь со своего кресла в сумрачной, с отсветами пламени комнате, как на картине, изображающей отдых после уборки – ящики стола задвинуты, заперты, покой нерушим.

– Да, они просили меня ничего не говорить и, чтобы их не огорчать, пока они были в церкви, я, разумеется, пообещала им. Но что с вами такое случилось?

– Я пошла только проводить вас и прогуляться, – ответила я. – А потом мне пришлось вернуться, чтобы встретить одну

знакомую. – Она явно удивилась.

– У вас есть тут знакомые?

– О да, у меня их двое! – Я улыбнулась. – Но дети объяснили вам, в чем дело?...

– Почему не надо было поминать об вашем уходе? Да, они сказали, что вам это будет приятнее. Вам это правда приятнее?

Выражение моего лица ее растрогало.

– Нет, мне это совсем не приятно! – Но я тут же прибавила: – А они сказали, почему мне это должно быть приятнее?

– Нет, мистер Майлс сказал только: "Мы не должны делать ничего, что ей неприятно".

– Хотелось бы мне, чтоб он так и делал! А что же сказала Флора?

– Мисс Флора такая милочка. Она сказала: "О, конечно, конечно!" И я то же самое сказала.

Я подумала с минуту.

– Вы тоже такая милочка – я всех вас так и слышу. Но тем не менее между мной и Майлсом теперь все разладилось.

– Все разладилось? – Моя собеседница уставилась на меня. – Но что именно, мисс?

– Все. Это уже не имеет значения. Я уже решилась. Ведь я, дорогая моя, – продолжала я, – вернулась домой, чтобы объяснить с мисс Джессел.

К этому времени у меня уже вошло в привычку, прежде чем коснуться этой темы с миссис Гроуз, постараться, в пол-

ном смысле слова, подчинить ее себе; так что даже сейчас, когда она услышала мои слова и заморгала, храбрясь, я могла заставить ее держаться более или менее стойко.

– Объясниться? Вы хотите сказать, что она с вами говорила?

– Да, дошло и до этого. Когда я вернулась, я застала ее в классной комнате.

– И что же она вам сказала?

Я и сейчас как будто слышу эту добрую женщину в ее простодушном изумлении.

– Что она терпит адские муки!... То, что представилось ей за этими словами, вот эта картина и вправду ошеломила ее.

– Вы хотите сказать, – запинаясь проговорила она, – муки отверженных?

– Да, отверженных. Обреченных. И вот поэтому она хочет разделить эти муки... – Я и сама запнулась, представив себе этот ужас.

Но моя собеседница, не столь поддававшаяся воображению, не отставала от меня.

– Разделить муки с кем?...

– С Флорой. – Не будь я готова ко всему, миссис Гроуз, наверно, отшатнулась бы от меня, услышав это. Но я держала ее в руках, мне надо было убедить ее. – Как я уже сказала вам, что бы там ни было, это не имеет значения.

– Потому что вы уже решились. Но на что?

– На все.

– А что значит "все"?

– Ну ясно, это значит, послать за их дядей.

– Ох, мисс, пошлите, ради бога, – вырвалось у моей собеседницы.

– Да, я и пошлю, пошлю! Вижу, что это единственный выход. А то, что у меня с Майлсом, как я вам сказала, все "разладилось" и он думает, что меня это отпугнет и он на этом выиграет, – то он увидит, что ошибся. Да, да, его дядя все от меня узнает тут на месте, и даже, если это понадобится, в его присутствии, потому что, если меня можно упрекнуть в том, что я так ничего и не предприняла насчет школы...

– Да, мисс? – понукала меня миссис Гроуз.

– Так причина этому – вот этот ужас. По-видимому, для бедняжки оказалось слишком много этих ужасов, и не удивительно, что она растерялась.

– Э-э... Но... о чем вы?

– Ну вот хотя бы о письме из его бывшей школы.

– Вы покажете письмо милорду?

– Я должна была сразу же это сделать.

– Ох, нет! – решительно ответила миссис Гроуз.

– Я скажу ему, – продолжала я, не сдаваясь, – что не могу взять на себя такое дело, хлопотать за ребенка, которого исключили...

– Ведь мы же не знали за что! – прервала меня миссис Гроуз.

– За испорченность. За что же еще – ведь он такой умни-

ца, очаровательный, просто совершенство? Разве он глупый? Неряха? Или калека? Разве он злой по натуре? Он прелестный – значит, только и может быть одно, – вот это-то и раскроет все. В конце концов виноват их дядя. Если он оставил здесь таких людей...

– Он же и вправду их совсем не знал. Это я виновата.

Она побледнела.

– Нет, вы не должны пострадать, – возразила я.

– Дети, вот кто не должен пострадать! – воскликнула она.

Я промолчала; мы глядели друг на друга.

– Так что же я могу ему сказать?

– Вам ничего не надо говорить. Я сама ему скажу.

Я задумалась.

– Вы хотите ему написать? – И тут же спохватилась, вспомнив, что писать она не умеет. – Как же вы дадите ему знать?

– Я поговорю с управляющим. Он напишет.

– И, по-вашему, он должен написать все, что мы знаем?

Мой вопрос, не совсем умышленно с моей стороны, прозвучал так язвительно, что мигом сломил ее сопротивление. На глазах у нее опять навернулись слезы.

– Ах, мисс, напишите вы сами!

– Хорошо, напишу сегодня же, – наконец ответила я.

И на этом мы расстались.

## XVII

К вечеру я дошла до того, что решилась уже приступить к делу. Погода опять переменилась, поднялся сильный ветер, и я при свете лампы, рядом со спящей Флорой, долго сидела перед чистым листом бумаги, прислушиваясь к стуку дождя и порывам ветра. Наконец я вышла из комнаты, захватив свечу, пересекла коридор и с минуту прислушивалась у двери Майлса. Постоянно преследуемая неотступным наваждением, я не могла не прислушаться – не выдаст ли он чем-нибудь, что не спит, и тут же услышала, правда, не совсем то, что я ожидала, – звонкий голос Майлса:

– Послушайте, вы там – входите же!

Это был луч радости среди мрака!

Я вошла к нему со свечой и застала его в постели, он был очень оживлен и встретил меня с полной непринужденностью.

– Ну, что это вы затеяли? – спросил он так дружелюбно, что, если бы миссис Гроуз была здесь, подумалось мне, она тщетно стала бы искать доказательств того, что между нами "все разладилось".

Я стояла над ним со свечой.

– Как ты узнал, что я здесь?

– Ну само собой, я вас услышал. А вы вообразили, будто совсем не шумите? Похоже было на кавалерийский полк! –

И он чудесно засмеялся.

– Значит, ты не спал?

– Да так как-то, не очень! Я лежал и думал.

Я нарочно поставила мою свечу поближе к нему и, когда он по-старому дружески протянул мне руку, села на край его кровати.

– О чем же это ты думаешь? – спросила я.

– О чем же еще, как не о вас, дорогая?

– Хоть я и горжусь таким вниманием, но не скажу, чтобы я это поощряла.

Куда лучше было бы, чтобы ты спал.

– Так вот, знаете, я еще думаю об этих наших странных делах.

Его маленькая твердая рука была прохладная.

– О каких "странных делах", Майлс?

– Да вот о том, как вы меня воспитываете. И обо всем прочем!

На секунду у меня перехватило дыхание, и даже слабого мерцающего света свечи было достаточно, чтобы я увидела, как он улыбается мне со своей подушки.

– А что же это такое "все прочее"?

– О, вы знаете, знаете!

С минуту я не могла выговорить ни слова, хотя чувствовала, держа его за руку и по-прежнему глядя ему в глаза, что мое молчание как бы подтверждает его слова и что в действительности в целом мире сейчас, может быть, нет ничего

более невообразимого, чем наши подлинные взаимоотношения.

– Конечно, ты опять отправишься в школу, – сказала я, – если только это тебя беспокоит. Но не в прежнюю – мы найдем другую, получше. Откуда мне было знать, что тебя это беспокоит, ты же мне ничего не говорил, ни разу даже и не заикнулся об этом?

Его ясное, внимательное лицо, обрамленное белизной подушки, показалось мне в эту минуту таким трогательным, как если бы передо мной был больной ребенок, истосковавшийся в детской больнице; и это сходство так поразило меня, что я поистине готова была отдать все на свете, чтобы быть сиделкой или сестрой милосердия и помочь ему исцелиться. Но даже и теперь вот так, как оно есть, может быть, я могу помочь ему!

– А знаешь, ведь ты никогда не говорил мне ни слова о твоей школе – я хочу сказать, о старой твоей школе; никогда даже и не вспоминал о ней?

Он как будто был удивлен; он улыбнулся все так же подкупающе. Но он явно старался выиграть время; он тянул, он ждал, чтобы ему подсказали.

– Не вспоминал?

Не от меня он ждал подсказки, нет, от той твари, с которой я встретилась!

Что-то в его тоне и в выражении лица заставило меня почувствовать это, – сердце мое сжалось такой мукой, какой



я еще никогда не испытывала; так невыразимо больно было видеть, как он напрягает весь свой детский ум и как пускает в ход все свои детские увертки, пытаясь разыгрывать навязанную ему каким-то колдовством роль невинности и спокойствия.

– Да, ни разу, с того времени как ты вернулся. Ты никогда не говорил ни о ком из твоих учителей или товарищей, ни хотя бы о чем-нибудь самом пустяковом, что могло с тобой случиться в школе. Ни разу, мой маленький Майлс, ты даже не обмолвился ни словом, ни разу хотя бы намеком не дал мне понять, что там могло случиться. Поэтому, ты можешь представить себе, я просто впотьмах. До тех пор пока ты сам не открылся мне сегодня утром, ты с того дня, когда я тебя первый раз увидела, никогда ни о чем не вспоминал из твоей прежней жизни. Ты как будто совсем сжился с теперешней.

Удивительно, как моя глубокая убежденность в его тайном преждевременном развитии, или как бы там ни назвать эту отраву страшного воздействия, которое я не решаюсь именовать, позволяла мне, несмотря на еле прорывающуюся у него тайную тревогу, обращаться с ним как со взрослым, говорить с ним как с равным по уму.

– Я думала, что тебе так вот и хочется жить, как ты живешь.

Меня поразило, что мои слова заставили его только чуть-чуть покраснеть. Но все же, как выздоравливающий и немножко уставший человек, он медленно покачал головой.

– Нет, не хочу, не хочу. Я хочу уехать отсюда.

– Тебе надоел Блай?

– О нет, я люблю Блай.

– Тогда что же тебе?...

– Ах, вы сами знаете, что нужно мальчику!

Я чувствовала, что вряд ли я знаю это так хорошо, как Майлс, и временно прибегла к увертке.

– Ты хочешь поехать к дяде?

И тут опять его головка с кротко-ироническим личиком слегка шевельнулась на подушке.

– Нет, этим вы не сможете отделаться!

Я помолчала немного и на этот раз, кажется, покраснела сама.

– Дорогой мой, я вовсе не собираюсь отделяться.

– Не сможете, даже если и хотели бы. Не сможете, не сможете! – Он лежал, глядя на меня своими прекрасными глазами. – Мой дядюшка должен сам приехать, вы с ним все окончательно должны уладить.

– Если мы это сделаем, – возразила я довольно внушительно, – ты можешь быть уверен, что это поведет к тому, что тебя навсегда увезут отсюда.

– Так неужели вы не понимаете, что как раз этого я и добиваюсь? Вам придется рассказать ему, как вы все запустили. Вам придется столько всего рассказать ему!

Ликующий тон, каким он это произнес, помог мне ответить ему еще внушительнее:

– А сколько тебе, Майлс, придется рассказать дядюшке? Многое есть, о чем он тебя будет расспрашивать. Он задумался.

– Очень возможно. Но о чем собственно?

– О том, о чем ты никогда мне не говорил. Чтобы он мог принять решение, что с тобой делать. Он не может вернуть тебя в ту школу.

– А я и не хочу туда возвращаться, – прервал он меня. – Мне нужно совсем новую колею.

Он сказал это с удивительной безмятежностью, с какой-то не допускающей сомнения, явной шутливостью, и вот этот его тон сильнее всего дал мне почувствовать всю горечь и противоестественность этой трагедии ребенка, который, по всей вероятности, вернется через три месяца обратно, все с той же бравадой и с еще большим позором. Меня охватило мучительное чувство, что я не смогу этого перенести, – и я не выдержала. Я бросилась к нему и с мучительной нежностью прижала его к себе.

– Дорогой мой маленький Майлс, маленький дорогой Майлс...

Я прильнула лицом к его лицу, и он принимал мои поцелуи просто, с каким-то снисходительным добродушием.

– Ну что, старушка?

– Неужели тебе ничего, ничего не хочется мне сказать?

Он повернулся лицом к стене, поднял руку и стал разглядывать ее, как делают больные дети.

– Я уже сказал вам, – сказал сегодня утром.

О, как мне было его жаль!

– Что ты просто хочешь, чтобы я тебя не донимала?

Он опять повернулся и глянул теперь на меня, как бы подтверждая, что я поняла его правильно, потом сказал очень тихо:

– Чтобы вы оставили меня в покое.

В том, как он это сказал, было даже какое-то особенное детское

достоинство, нечто такое, что заставило меня выпустить его из объятий, но

когда я медленно поднялась, меня словно что-то удержало остаться с ним. Видит бог, мне не хотелось будоражить его, но только у меня было такое чувство, что, если сейчас повернуться к нему спиной, это значит покинуть его... вернее – потерять.

– Я только что начала письмо к твоему дяде.

– Так допишите его!

Я помолчала с минуту.

– А что же там случилось до этого?

Он снова пристально посмотрел на меня.

– До чего "этого"?

– До того, как ты вернулся домой. До того, как ты ушел из школы.

Некоторое время он молчал, однако не сводил с меня глаз.

– Что случилось?

Его голос, когда он произносил эти слова, в котором, мне казалось, я впервые уловила едва заметную дрожь, и моя готовность допустить, что он все понимает, заставили меня упасть на колени возле его кровати и еще раз попытаться отнять его, завладеть им.

– Милый маленький Майлс, милый мой маленький Майлс, если б ты только знал, как я хочу помочь тебе! Только это одно, ничего другого, я скорее умру, чем причиню тебе какое-нибудь огорчение или допущу какую-нибудь несправедливость – я скорей умру, чем позволю хоть волосок тронуть на твоей головке. Милый маленький Майлс, – и я решилась сказать прямо, даже если б мне пришлось зайти слишком далеко, – я только хочу, чтоб ты помог мне спасти тебя!

Но как только я это выговорила, я в ту же минуту поняла, что переступила границу дозволенного. Ответ на мою мольбу последовал мгновенно, но какой! Неистовый порыв ветра, поток ледяного воздуха вихрем пронесся по комнате, сотрясая все с такой страшной силой, как если бы вышибленная ураганом оконная рама обрушилась в комнату. Мальчик вскрикнул пронзительно громко, но, хоть я была совсем рядом с ним, в этом вскрике, заглушенном ураганным шумом, нельзя было различить ясно – ужас это или торжество. Я вскочила на ноги, сознавая только, что кругом мрак. Так мы и остались во мраке и несколько секунд молчали; я оглядывалась по сторонам и вдруг увидела, что опущенные шторы недвижны и окно плотно закрыто.

– Что это? Свеча погасла! – воскликнула я.

– Это я ее погасил! – сказал Майлс.

## XVIII

На следующий день, после уроков, миссис Гроуз, уловив минуту, тихо спросила меня:

– Вы написали письмо, мисс?

– Да, написала.

Но я не прибавила, что мое письмо, запечатанное и адресованное, еще лежит у меня в кармане. Будет еще время отослать его, когда посыльный отправится в деревню. Между тем никогда еще у моих воспитанников, по тому, как они держали себя, не было такого блестящего, такого примерного утра. Было совершенно так, будто они в глубине души твердо решили загладить все недавние маленькие трения между нами. Они проделывали головоломные фокусы по арифметике, далеко превышавшие сферу моих скромных познаний, и придумывали с небывалым воодушевлением географические и исторические шутки. Особенно у Майлса заметно было желание показать, что ему ничего не стоит превзойти меня. Этот ребенок запечатлелся и живет в моей памяти, сияющий красотой и страданием, каких не выразишь словами; в каждом его порыве сказывалось особенное, только ему присущее благородство; никогда еще маленькое, бесхитрое существо, само чистосердечие и непринужденность для человека, не посвященного в его тайну, не воплощало в себе такого даровитого, такого удивительного.

тельного юного джентльмена. Мне постоянно приходилось остерегаться, чтобы не выдать своего изумления, в которое моя наблюдательность посвященной то и дело повергала меня, не выдать себя недоуменным взглядом, взглядом отчаяния, которое я старалась подавить, теряясь в догадках, что же мог сделать такой маленький джентльмен, чтобы заслужить кару. Допустим, что темная сила, о которой я знала, открыла его представлению все зло, – жажда справедливости во мне мучительно требовала доказательств, что плодом этого был какой-то поступок.

Во всяком случае, никогда еще он не казался таким добропорядочным, как в тот ужасный день после раннего обеда, когда он подошел ко мне и спросил, не хочу ли я, чтобы он поиграл мне с полчаса. Давид, игравший Саулу<sup>11</sup>, не мог бы с такой чуткостью выбрать более удачное время. Это было поистине подкупающим проявлением такта, великодушия, как если бы он прямо сказал: «истинные рыцари, о которых мы любим читать, никогда по пользуются своим преимуществом. Я знаю ваш ход мыслей: вы думаете, что оставить меня в покое, не следить за мной, то есть перестать ме-

---

<sup>11</sup> Цитата из Ветхого Завета (Первая Книга Царств, 16:23): «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, – и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Будущий царь Израиля Давид, в юности служивший у царя Саула оруженосцем, прославился необыкновенной способностью рассеивать игрой на гусях приступы глубокой меланхолии (депрессии), порой мучившей господина. Эта аллюзия – очередной намек на неуравновешенное состояние гувернантки.



ня доносить и ходить за мной по пятам, это значит позволить мне отдалиться от вас, предоставить мне приходить и уходить, когда я хочу. Так вот я пришел, вы же видите, – но я не уйду! Для этого еще много времени впереди. Мне в самом деле приятно быть с вами, и я только хочу показать вам, что спорил из принципа». Можно ли удивляться, что я не отказала ему в его просьбе, и мы, как прежде, взявшись за руки, пошли с ним в классную. Он сел за старенькое фортепьяно и стал играть – так он еще никогда не играл, и, если есть люди, которые думают, что лучше ему было бы играть в футбол, я могу только сказать, что я совершенно с ними согласна. Ибо по истечении какого-то времени, которое я под влиянием его игры перестала ощущать, я вдруг очнулась с каким-то странным чувством, что я, по-видимому, спала, заснула на своем посту. Это было после завтрака, в классной перед камином, но в действительности я вовсе не спала: со мной произошло нечто гораздо худшее – я обо всем забыла. Где же все это время была Флора? Когда я задала этот вопрос Майлсу, он с минуту продолжал играть, не отвечая мне, а потом сказал только:

– Что вы, дорогая, откуда же мне знать? – и тут же разразился веселым смехом, который, словно вокальный аккомпанемент, постепенно перешел в бессвязный, сумасбродный напев.

Я сразу же пошла к себе в комнату, но сестры Майлса там не было. Тогда, прежде чем сойти вниз, я заглянула в

несколько других комнат. Раз ее здесь нигде нет, наверное, она с миссис Гроуз, успокаивала я себя, отправившись на поиски. Я нашла миссис Гроуз там же, где и вчера вечером, но на мои торопливые расспросы ответом было только испуганное молчание. Она не знала. Она полагала только, что после завтрака я увела обоих детей гулять; и с ее стороны естественно было так предположить, потому что это было первый раз, что я совсем упустила девочку из вида, не приняв никаких мер предосторожности. Конечно, она могла уйти с кем-нибудь из служанок, так что первым делом надо было попытаться разыскать ее, не поднимая тревоги. Мы тут же уговорились об этом с миссис Гроуз, но когда минут через десять мы встретились в холле, как было условлено, то могли только сообщить друг другу, что после очень осторожных расспросов нам так и не удалось напасть на ее след. После того как мы обменялись нашими наблюдениями, мы с минуту смотрели друг на друга в ужасе, и я чувствовала, какую глубокую озабоченность вызвало у миссис Гроуз все то, о чем я рассказывала ей раньше.

– Она, должно быть, наверху, – сказала миссис Гроуз, – в одной из тех комнат, где вы не искали.

– Нет, здесь поблизости ее нет. – Я уже догадывалась. – Она куда-то ушла.

Миссис Гроуз посмотрела на меня с тревожным недоумением.

– Без шляпы?

Наверно, у меня тоже был встревоженный вид.

– А женщина эта, ведь она всегда без шляпы?

– Она с ней?

– Она с ней! – сказала я. – Надо отыскать их обеих.

Я схватила за руку мою подругу. Она, потрясенная моими словами, не ответила на мое пожатие, но тут же поделилась со мной своей тревогой:

– А где же мистер Майлс?

– О, он с Квинтом. Они оба в классной.

– Господи, мисс!

Сейчас, – я чувствовала это, – вид у меня был совершенно спокойный, и никогда еще голос мой не звучал с такой твердой уверенностью.

– Нас обманули, – продолжала я, – у них все было очень хорошо обдуманно. Он нашел поистине божественный способ удержать меня около себя, когда Флора сбежала.

– Божественный? – растерянно повторила миссис Гроуз.

– Ну, дьявольский! – чуть ли не шутливо бросила я. – Он ведь и для себя тоже постарался. Но идемте же!

Она беспомощно и хмуро возвела глаза к небу.

– Вы оставляете его?...

– Когда он с Квинтом? Да, теперь это уже не имеет значения.

В такие минуты миссис Гроуз всегда сама хватала меня за руку, и это и сейчас еще могло бы остановить меня. Но, пораженная неожиданностью моего отречения, она, помолчав,

спросила:

– Это из-за вашего письма?

Вместо ответа я быстро нащупала в кармане письмо, вынула его, показала ей и, отойдя, положила на большой стол в холле.

– Люк возьмет его, – сказала я, вернувшись к ней. Потом я подошла к входной двери, отворила ее и уже ступила на крыльцо.

Моя подруга все еще мешкала: ночная и утренняя буря утихла, но день был сырой и пасмурный. Я сошла на дорожку, а она все еще стояла в дверях.

– Вы так и пойдете, не надев ничего?

– Не все ли равно, ведь и девочка не одета? Некогда одеваться, – крикнула я, – а если вы считаете это необходимым, я не буду вас ждать. Кстати, загляните наверх.

– Туда, к ним?

О, тут бедняжка мигом подбежала ко мне.

## XIX

Мы пошли прямо к озеру, как его называли в усадьбе, и, надо сказать, называли правильно, хотя теперь мне кажется, что это водное пространство было совсем не так обширно, как представлялось тогда моему неискушенному взгляду. Мое знакомство с водными просторами было очень невелико, и озеро в Блае, по крайней мере, в тех редких случаях, когда я отваживалась под покровительством моих воспитанников прокатиться по его поверхности в старой плоскодонке, которую держали для нас на причале у берега, производило на меня внушительное впечатление своей ширию и колыханьем. Обычное место причала находилось в полумиле от дома, но я была глубоко убеждена, что, где бы ни была Флора, во всяком случае, она не поблизости от дома. Она улизнула от меня не для какой-нибудь проказы; после того знаменательного, что я пережила вместе с ней, я заметила во время наших прогулок, куда ее тянет. Вот почему я решительно предложила миссис Гроуз следовать за мной, и когда она поняла, куда мы идем, и попыталась меня остановить — я увидела, что она в полном недоумении.

— Вы идете к озеру, мисс? Вы думаете, что она...

— И это может быть, хотя там как будто и не глубоко... Но я думаю, что она, вероятнее всего, пошла на то место, откуда мы в тот день видели то, о чем я вам рассказывала.

– Когда она притворилась, будто не видит?

– Да, и с таким изумительным самообладанием! Я так и думала, что ей хочется вернуться туда одной. Вот братец и помог ей в этом.

Миссис Гроуз все еще стояла не двигаясь.

– Вы думаете, они говорят об этом между собой?

Я отвечала с полной уверенностью:

– Они говорят о таких вещах, что мы с вами просто ужаснулись бы, если б услышали.

– Так если Флора там?

– Да?

– Значит, там и мисс Джессел?

– Можете не сомневаться. Увидите сами.

– Нет уж, спасибо! – воскликнула миссис Гроуз, и я, видя, что она будто приросла к земле и не ступит ни шагу, быстро пошла одна. Однако, когда я приблизилась к озеру, оказалось, что она шла за мной по пятам, и я поняла, что какие бы ужасы ей ни мерещились, что бы ни случилось со мной, все-таки около меня ей не так страшно. Она вздохнула с облегчением, когда перед нами открылась большая часть озера, а никаких следов девочки не было видно. Не было следов Флоры и вблизи, на берегу, где я с таким изумлением наблюдала за ней, ни по ту сторону озера, где густая чаща кустарников подходила к самой воде, если не считать песчаной полосы ярдов в двадцать. Озеро, продолговатое по форме, было сравнительно нешироко, и оттуда, где его конца в

длину не было видно, его можно было принять за мелкую речку. Мы смотрели на его пустую гладь, и по глазам моей подруги я догадалась, какие у нее опасения. Я знала, о чем она думает, и ответила, отрицательно помотав головой.

– Нет, нет, погодите! Она взяла лодку.

Моя подруга поглядела на пустое место у причала, а потом снова перевела взгляд на дальний берег озера.

– А где же она?

– Вот то, что мы ее не видим, – это и есть самое верное доказательство. Она переправилась на ту сторону на лодке, а потом ухитрилась где-то спрятать ее.

– Одна – такая крошка?

– Она не одна, и в такие минуты она не ребенок: она старая, старая женщина.

Я внимательно оглядывала, насколько было доступно глазу, оба берега, в то время как миссис Гроуз с какой-то внезапной покорностью погружалась в чуждую стихию, о которой она узнала от меня; затем я показала ей, что лодка может быть укрыта в одном из маленьких заливчиков озера, закрытом для нас выступом того берега и купой деревьев, растущих у самой воды.

– Но если лодка там, так где же девочка? – тревожно спросила моя подруга.

– Вот это мы и должны узнать. – И я пошла дальше.

– Надо обойти все озеро?

– Конечно, как это ни далеко. У нас это займет всего ми-

нут десять, но для девочки это достаточно далеко, ей не хотелось идти пешком. Она переправилась напрямик.

– Господи! – опять воскликнула моя подруга; тяжелое ярмо моей логики было ей не под силу, но и сейчас оно тащило ее за мной по пятам, а когда мы наполовину обогнули озеро по утомительной неровной дороге, по теряющейся в зарослях тропинке через овраги и холмы, я остановилась, чтоб дать ей передохнуть. Я поддерживала ее благодарной рукой, уверяя, что она очень мне помогла; отдохнув, мы снова двинулись и после нескольких минут ходьбы дошли до того места, где, как я и предполагала, оказалась лодка. Ее умышленно задвинули поглубже так, чтоб не было видно, и привязали к одному из столбиков ограды, которая здесь подходила к самому берегу и облегчала высадку. Глядя на пару коротких, толстых весел, предусмотрительно поднятых кверху, я подумала, какой это удивительный подвиг для маленькой девочки; но к этому времени я уже слишком долго жила среди всяких чудес и нагладелась на всякие ловкие фокусы. В ограде была калитка, мы прошли в нее и через несколько шагов очутились на открытом месте. И тут мы обе разом вскричали:

– Вот она!

Флора чуть-чуть поодаль стояла в траве и улыбалась нам так, словно она только что закончила свое выступление. Однако она тут же нагнулась и сорвала – как если бы она лишь за этим и пришла – большую, некрасивую ветку засохшего папоротника. Я была уверена, что она только что вышла из



рощи. Она ждала нас, не делая ни шагу, и я чувствовала, с какой необычной торжественностью мы сейчас приближаемся к ней. Она все улыбалась и улыбалась, и вот мы подошли; но все это происходило в молчании, которое теперь стало уже явно зловещим. Миссис Гроуз первая прервала это наваждение, она бросилась на колени и, прижав девочку к груди, обняла ее и долго не выпускала из объятий нежное, податливое тельце. Пока длилась эта трогательная сцена, я могла только наблюдать ее – наблюдать особенно внимательно, когда я увидела, как личико Флоры выглянуло на меня из-за плеча нашей приятельницы. Теперь оно было серьезно – оживление сошло с него; но это только усилило мою мучительную зависть, которую внушала мне миссис Гроуз простотой своего отношения. За все это время между нами не произошло ровно ничего, только Флора бросила на землю свою дурацкую ветку папоротника. В сущности, мы с Флорой молча сказали друг другу, что прибегать к каким-либо предложениям теперь уже незачем. Когда миссис Гроуз наконец поднялась на ноги, держа девочку за руку, обе они очутились передо мною; и странное безмолвие нашего общения особенно подчеркнул откровенный взгляд, который бросила на меня Флора. "Пусть меня лучше повесят, а я ни за что не проговорюсь", – сказал мне этот взгляд.

Оглядев меня с головы до ног в невинном изумлении, Флора начала первая. Наши неприкрытые головы поразили ее.

– А где же ваши шляпы?

– А твоя где, дорогая? – живо откликнулась я. К ней уже вернулась ее веселость, и она, по-видимому, сочла это за ответ.

– А где Майлс? – продолжала она.

Что-то такое в самой незначительности этого вопроса окончательно сразило меня: эти три слова, произнесенные ею, сверкнули, словно обнаженное лезвие, и чаша, наполненная до краев, которую я неделя за неделей держала высоко в руке, опрокинулась и, прежде даже чем я успела вымолвить слово, я почувствовала, как на меня хлынуло.

– Я тебе отвечу, если ты мне скажешь... – услышала я свой голос, и тут же услышала, как он дрогнул.

– А что?...

Мучительное недоумение миссис Гроуз явно предостерегало меня, но теперь уже было поздно, и я тихо выговорила:

– Где мисс Джессел, милочка?

## XX

Точно так же, как на церковном дворе с Майлсом, все сразу стало нам ясно. Как бы мне ни казалось знаменательным, что до сих пор это имя ни разу не было произнесено между нами, быстрый, виноватый взгляд и лицо девочки отозвались на нарушенное мною молчание, как если бы это был грохот вышибленного окна. К этому присоединился вопль, который, словно пытаюсь остановить удар, вырвался в ту же секунду у миссис Гроуз, потрясенной моей жестокостью, – вопль испуганного, раненого животного, и все это еще через мгновение завершилось моим стоном. Я схватила за руку мою подругу.

– Она там, вон она!

Мисс Джессел стояла перед нами на берегу по ту сторону озера совсем так же, как и в прошлый раз; и, мне страшно вспомнить, первое, что я почувствовала в эту минуту, была живейшая радость, что вот оно доказательство – налицо. Она тут, и в этом мое оправдание; она – тут, и я не была ни жестокая, ни сумасшедшая. Она была тут, и ее видела бедная, перепуганная миссис Гроуз, но самое главное – ее видела Флора; и в эти ужасные минуты, наверно, самой необыкновенной минутой была та, когда я совершенно сознательно послала ей безмолвный знак благодарности, чувствуя, что даже этот бледный алчный демон примет и поймет его. Она стояла на

том самом месте, где мы только что были с моею подругой, и все зло в ее направленной к нам алчности достигало до нас во всей своей полноте. Это первое острое восприятие и ощущение длились несколько секунд, пока я по ошеломленному взгляду миссис Гроуз, глядевшей туда, куда я указывала, не убедилась, что наконец-то она тоже видит, после чего я поспешно перевела взгляд на Флору. То, как приняла это Флора, поразило меня, и, сказать правду, гораздо сильнее, чем если бы я увидела, что она просто встревожена. Явного испуга я, разумеется, вовсе и не ожидала увидеть. С тех пор как мы ее разыскали, она уже успела подготовиться, держалась настороже, старалась ничем себя не выдать, поэтому то особенное, о чем я и мысли не допускала и что обнаружилось с первого взгляда, поистине потрясло меня. Видеть, как она без тени колебания на розовом личике, нисколько не при-творясь, даже не поглядела ни разу на это чудо, на которое я показывала, и только смотрела на меня с твердой спокойной суровостью, но с таким небывалым, совершенно новым выражением, как если бы она читала мои мысли, обвиняла и вершила надо мной суд, – это было для меня ударом, это словно обратило девочку в то самое наваждение, которое заставляло меня содрогаться. Я содрогалась, но никогда еще я не была так твердо уверена, что она видит, как в этот миг, и, чувствуя, что нельзя сдаваться, я отчаянно призывала ее в свидетели:

– Она тут, несчастный ты ребенок, – тут, тут, и ты видишь

ее так же хорошо, как меня!

Незадолго до этого я говорила миссис Гроуз, что Флора в такие минуты не ребенок, а старая, старая женщина, и более разительного подтверждения моих слов нельзя было бы и придумать, когда она вместо ответа повернула ко мне лицо и, ничего не подтверждая, ни с чем не соглашаясь, просто взглядом дала мне почувствовать свое глубокое, нарастающее и наконец вдруг совершенно непререкаемое осуждение. В эту минуту, – если только я способна связать все воедино, – я больше всего была потрясена вот этой ее – если так можно назвать – манерой, но тут, сверх того, на меня вдруг обрушилась миссис Гроуз – и как обрушилась! Не знаю, как это случилось, но внезапно у моей подруги словно бы помутилось в голове и она, вся вспыхнув, накинулась на меня с громким негодованием и возмущением.

– Что это за чудовищные выдумки, мисс? Да где вы здесь что-то видите?

Я могла только обнять ее за плечи, потому что в тот самый миг, как она это говорила, отталкивающе явственное виденье стояло перед нами нагло и открыто. Прошла минута, другая, пока я, обхватив мою подругу, заставляла ее повернуть голову, посмотреть хорошенько и настойчиво показывала пальцем:

– Как же вы не видите ее, когда мы видим? Вы хотите сказать, что и сейчас не видите – даже сейчас? Да ведь она на виду, как пылающий костер! Вы только посмотрите, милая

моя, посмотрите же!...

Она смотрела, так же как и я, и ее тяжкие стопы выражали отрицание, омерзение, сочувствие, казалось, она и жалеет, и рада была бы меня поддержать, – меня даже и тогда это тронуло, – и вместе с тем испытывает чувство облегчения, что она от этого освобождена. А я так нуждалась в поддержке, потому что с этим обрушившимся на меня ударом – какими-то чарами глазам ее было запрещено видеть – я почувствовала, что почва уходит у меня из-под ног, я видела, я знала, как моя страшная предшественница уже оттесняет меня, и ясно представляла себе, как теперь все обернется после удивительного поведения Флоры. И вот тут тотчас же бурно вмешалась миссис Гроуз. Задыхаясь, она так успокаивала Флору, что я даже в своем крушении испытывала втайне чувство торжества.

– Ее там нет, моя маленькая, и никого там нет – и ничего-то вы не видите, душенька моя! Бедная мисс Джессел? Да как это может быть, когда бедная умерла и ее похоронили? Мы-то знаем, верно, милочка? – путаясь в словах, зывала она к девочке. – Все это попросту ошибка, ну пошутили, и будет, а сейчас пойдем скорее домой!

Наша питомица сразу откликнулась на это с какой-то необычной чинностью; миссис Гроуз выпрямилась, и вот они теперь стояли рядом, словно в каком-то вынужденном заговоре против меня. Флора продолжала смотреть на меня все тем же застывшим взглядом холодного осуждения, а я даже

в ту минуту, когда она стояла, крепко уцепившись за платье нашей подруги, молила бога простить меня за то, что я не могла не видеть, – вся ее несравненная детская красота вдруг сразу прошла, исчезла – я уже говорила это, – она стала отвратительной, жесткой, грубой и почти безобразной.

– Не знаю, что вы хотите сказать. Я никого не вижу. Я ничего не вижу. И никогда не видела. По-моему, вы злая. Я вас не люблю!

И после такого выпада, какого можно было бы ожидать разве только от дерзкой уличной девчонки, она еще крепче обняла миссис Гроуз и уткнулась в ее юбки своим страшным маленьким личиком. И, уткнувшись, завопила неистовым голосом:

– Уведите меня отсюда, уведите меня от нее!

– От меня? – ахнула я.

– От вас, от вас! – крикнула она.

Даже миссис Гроуз покосилась на меня в ужасе, мне же не оставалось ничего другого, как снова обратиться к тому обличью на берегу, которое, застыв неподвижно, словно ловило наши голоса на расстоянии и находилось там явно на мою погибель, а не к моим услугам. Несчастливая девочка говорила так, будто кто-то со стороны подсказывал ей каждое убийственное слово, и я в полном отчаянии от всего, с чем мне приходилось мириться, только печально покачала головой.

– Если я до сих пор сколько-нибудь сомневалась, теперь все мои сомнения рассеялись. Я жила рядом с чудовищной

правдой, а сейчас она уже почти замыкает меня в свой круг. Да, я потеряла тебя: я вмешалась, и ты под ее диктовку нашла безошибочно легкий выход. – И тут я поглядела в лицо нашему адскому свидетелю по ту сторону озера. – Я сделала все, что могла, но потеряла тебя. Прощай.

Миссис Гроуз я только бросила отрывисто, чуть ли не с яростью: "Идите, идите!" – и она в глубоком сокрушении молча обняла девочку и со всей поспешностью, на какую была способна, пошла той же дорогой, какой мы сюда пришли, явно убежденная, несмотря на свою слепоту, что случилось что-то страшное, что мы попали в какую-то беду.

Что было, когда я осталась одна, я смутно помню. Знаю только, что прошло, как мне казалось, разве что четверть часа, когда я, поглощенная своим горем, вдруг почувствовала какую-то пронизывающую меня холодом пахучую сырость и поняла, что я, должно быть, бросилась в отчаянии наземь и лежу, уткнувшись лицом в песок. Наверно, я лежала так довольно долго, рыдая, обливаясь слезами, потому что, когда я подняла голову, день уже подходил к концу. Я встала и с минуту глядела в сумерках на серое озеро и на его пустой берег, который посещают злые духи, а потом отправилась домой. Путь мой был труден и уныл. Когда я подошла к калитке в ограде, я с удивлением обнаружила, что лодка исчезла, и это заставило меня задуматься над необычайной выдержкой Флоры. Эту ночь она по молчаливому и, я бы сказала, счастливому соглашению, если бы это не звучало так фальшиво,



провела с миссис Гроуз. Вернувшись, я не видела ни ту, ни другую, зато, как бы в возмещение, правда весьма сомнительное, я достаточно нагляделась на Майлса. Я нагляделась на него – не подберу другого слова – больше, чем когда-либо. Ни один вечер из проведенных мною в усадьбе Блай не носил такого зловещего характера, как тот вечер; но несмотря на это – несмотря на всю бездну ужаса, разверзшуюся у меня под ногами, – в этом завершающемся настоящем была необычайная сладкая печаль. Когда я пришла домой, я даже не спросила, где мальчик: я пошла прямо к себе в комнату переодеться и сразу с одного взгляда увидела наглядное подтверждение тому, что у меня с Флорой все порвано. Все ее вещи были унесены из комнаты. Позже, когда я сидела у камина в классной и наша служанка мне подала чай, я не позволила себе спросить о втором моем воспитаннике. Он добился своего, получил свободу – пусть пользуется ею до конца! И он воспользовался ею, и проявилось это, по крайней мере, частично в том, что около восьми часов он вошел ко мне в классную и молча сел рядом. После того как поднос с чаем унесли, я погасила свечи и придвинула кресло поближе к огню: я ощущала смертельный холод, и мне казалось, что я уже никогда больше не согреюсь. Так что, когда Майлс появился, я сидела у огня, погруженная в свои мысли. На мгновение он остановился в дверях, как бы разглядывая меня, потом, словно для того, чтобы разделить эти мысли со мною, подошел и опустился в кресло по другую сторону ка-

мина. Мы сидели с ним в полном молчании, но я чувствовала, что ему хочется быть со мною.

## XXI

Еще до того, как забрезжил новый день, я открыла глаза и увидела миссис Гроуз, которая подошла к моей кровати с дурными вестями. Флору так заметно лихорадило, что похоже, она заболевает: ночь она провела очень беспокойно, ее мучили какие-то страхи, и страшилась она чего-то, что было связано не с прежней гувернанткой, а вот с этой, теперешней. Она не против возможного появления мисс Джессел, а явно и ожесточенно не желает больше видеть меня. Разумеется, я тотчас же вскочила с кровати и стала обо всем расспрашивать, тем более что моя подруга, как видно, уже приготовилась вступить со мною в бой. Это я почувствовала, как только спросила ее, кому она больше верит: девочке или мне.

– Значит, она продолжает отрицать, что она видела, уверяет вас, что никогда ничего не видела?

Моя гостья пришла в сильное замешательство:

– Ах, мисс, не такое это дело, чтобы я стала наводить ее на такие мысли, и, признаться, не считаю это нужным. Она от этого прямо на глазах у меня постарела.

– О, я это и сама вижу. Она возмущается – подумать, такая благородная девочка, а ее смеют подозревать в лживости, оскорбляют ее. Выдумали – "мисс Джессел!" – и чтобы она... Разыгрывает из себя этакую благопристойность, негодница! Уверяю вас, впечатление, которое она на меня

произвела вчера, это что-то странное, совершенно невероятное, ни на что не похожее! И я раз навсегда решила: конечно, разговоров с ней больше быть не может.

Как ни чудовищно и непонятно было все это для миссис Гроуз, она сразу притихла и тут же согласилась со мной с такой готовностью, которая явно показывала, что за этим что-то кроется.

– Я, по правде сказать, думаю, мисс, что она этого и сама не хочет. Уж так высокомерно она это говорит!

– Вот в этом высокомерии, – заключила я, – в нем-то все и дело.

О да, глядя на лицо моей гостьи, я представляла себе ее вид и многое другое.

– Она то и дело спрашивает, как я думаю, не придете ли вы.

– Понимаю, понимаю, я же ведь сама очень много сделала, чтобы в ней это прорвалось. А обронила она после вчерашнего хоть слово о мисс Джессел, кроме того, что она ведать не ведает ни о каких таких ужасах?

– Ни единого, мисс. И вы сами знаете, – добавила она, – я ведь еще у озера поняла из ее слов, что, по крайней мере, тогда там никого не было.

– Вот как! И конечно, вы и сейчас этому верите?

– Я не спорю с ней. А что еще я могу сделать?

– Ровно ничего! Вам приходится иметь дело с такой умницей! Они – я хочу сказать, эти двое, их друзья, – сделали

их обоих такими умниками, каких свет не создавал; на этом-то они так ловко и играют! У Флоры теперь есть на что жаловаться, и она это доведет до конца.

– Да, мисс, но до какого конца?

– Ну, пожалуется на меня дядюшке. Изобразит меня такой гадиной...

По выражению лица миссис Гроуз я живо представила себе все это, и у меня сердце екнуло – она смотрела на меня так, как будто видела их обоих.

– А ведь он о вас такого хорошего мнения!

– Все-таки странно, если подумать, – усмехнулась я – что он прибег к такому способу показать мне это. Но все равно. Конечно, Флоре только и нужно отделаться от меня.

Моя подруга честно подтвердила:

– Не видеть вас больше никогда в жизни.

– Так вы затем и пришли ко мне, чтобы поторопить меня с отъездом? – спросила я. Но прежде чем она успела ответить, я остановила ее. – Мне вот что пришло в голову, и, по-моему, так будет лучше. Я считала, что мне надо уехать, и в воскресенье я уже почти на это решилась. Но это не то. Уехать должны вы. И взять с собой Флору.

Моя подруга задумалась.

– Но куда же мы...

– Прочь отсюда. Прочь от них. И самое главное сейчас – прочь от меня. Прямо к ее дядюшке.

– Только чтобы пожаловаться на вас?...

– Нет, не только. А для того еще, чтобы оставить меня с моим лекарством.

Она все еще колебалась.

– А какое же у вас лекарство?

– Прежде всего ваша преданность. И еще – Майлс.

Она уставилась на меня.

– Вы думаете, он?...

– Воспользуется случаем отречься от меня? Да, я и это допускаю. Но все-таки я хочу рискнуть, я хочу попробовать. Уезжайте с его сестрой как можно скорее и оставьте меня с ним одну.

Я сама удивлялась, сколько у меня еще сохранилось мужества, и поэтому несколько растерялась, когда она, несмотря на явное подтверждение этого, все еще продолжала колебаться.

– И вот что еще, – продолжала я, – конечно, до ее отъезда они ни в коем случае не должны видаться, ни на минуту.

И тут мне пришло в голову, что, может быть, несмотря на то, что Флору с той минуты, как она вернулась с озера, держат взаперти, мы с этим уже опоздали.

– Вы не думаете, что они уже виделись? – тревожно спросила я.

Она вспыхнула.

– Ах, мисс, уж не такая я безмозглая дура! Если я раза два-три и вынуждена была оставить ее, то всякий раз с кем-нибудь из служанок, а сейчас, хоть она и одна, я ее заперла на

ключ. А все-таки... все-таки! Слишком много надо было опасаться.

– Что все-таки?

– Ну, вы так уверены в маленьком джентльмене?

– Ни в ком я не уверена, кроме вас. Но со вчерашнего вечера у меня появилась надежда. Мне кажется, он хочет вызвать меня на откровенность... Я так этому верю – бедный мой, гадкий, прелестный, несчастный мальчик! Он хочет высказаться. Вчера вечером мы сидели с ним у камина молча два часа, и мне все казалось, он вот-вот заговорит.

Миссис Гроуз, не отрываясь, смотрела в окно на хмурый занимающийся день.

– Ну и что же, заговорил он?

– Нет, я все ждала и ждала и, признаться, не дождалась. Так и не прервав молчания, даже не обмолвившись о сестре, об ее отсутствии, он поцеловал меня, и мы разошлись спать. Но все равно, – продолжала я, – если она увидится с дядей, я не могу допустить, чтобы дядя увиделся с ее братом, так как дела приняли сейчас такой оборот, что мальчику надо дать еще немного времени.

Как раз этому больше всего и противилась моя подруга. И мне было не совсем понятно почему.

– Сколько это, по-вашему, "еще немного времени"?

– Ну, день-два – чтобы все это открылось. Тогда он будет на моей стороне – вы же понимаете, как это важно. Если это не выйдет, я только прогадаю, а вы как-никак поможете мне

тем, что, приехав в город, сделаете все, что только найдете возможным.

Так я втолковывала ей все это, но она все еще была в каком-то непонятном для меня замешательстве, и я пришла ей на выручку.

– Но, может быть, вам вовсе не хочется ехать, – заключила я.

И тут я все поняла по ее лицу: оно вдруг прояснилось, и она протянула мне руку в знак согласия.

– Я поеду, поеду! Поеду нынче же утром.

Мне хотелось быть вполне справедливой.

– Если вы считаете, что лучше помедлить, я обещаю вам, что она меня не увидит.

– Нет, нет, ведь все дело в этом самом месте. Ей надо отсюда уехать. -

С минуту она смотрела на меня угрюмым взглядом, потом договорила до конца: – Вы правильно рассудили, мисс. Я и сама ведь...

– Да?

– Не могу тут оставаться.

При этом она так посмотрела на меня, что в голову мне вдруг пришла новая мысль:

– Вы хотите сказать, что после вчерашнего вы видели?...

Она медленно, с достоинством покачала головой.

– Я слышала!...

– Слышали?



– Слышала всякие ужасы от этого ребенка! Вот! – вздохнула она с трагическим облегчением. – Честное слово, мисс, она говорит такое...

Но при этом воспоминании силы изменили ей: вдруг зарыдав, она опустилась на мою софу и, как мне уже приходилось видеть раньше, дала полную волю своему горю.

Я тоже дала себе волю, но по-своему:

– Ох, слава богу!

Тут она вскочила на ноги и, вытирая глаза, простонала:

– Слава богу?...

– Но ведь это меня оправдывает!

– Верно, мисс, оправдывает!

Это было сказано так выразительно, что, казалось, больше и желать было нечего, но я все еще колебалась.

– Что-нибудь ужасное?

Я видела, что моя подруга не находит слов.

– Чудовищное.

– И про меня?

– Про вас, мисс, если уж вы хотите знать. И для юной леди просто что-то невероятное. Не знаю, где только она могла набраться таких...

– Таких слов, какими она обзывает меня? Я-то знаю где! – сказала я, засмеявшись; смех мой был достаточно красноречив. И, сказать по правде, он только еще больше заставил призадуматься мою подругу.

– Так вот, может, и мне следовало бы знать – ведь я кое-

что вроде этого уже и раньше от нее слышала! И все-таки я не могу этого вынести! – промолвила бедная женщина и тут же, бросив взгляд на мои часики, лежащие на туалетном столе, заторопилась:

– Ну, мне пора идти.

Но я задержала ее.

– О, если вы это не можете выносить...

– Как же я могу с ней оставаться, хотите вы сказать? Так только ради того, чтоб увезти ее отсюда. Прочь от всего этого, подальше от них... – продолжала она.

– Она может измениться, избавиться от этого? – Я уже чуть ли не с радостью обняла ее. – Значит, несмотря на вчерашнее, вы верите...

– В такие вещи? – По выражению ее лица, когда она назвала это одним простым словом, я поняла, что больше спрашивать нечего, и все стало ясно как никогда, после того как она ответила: – Верю.

Да, это была радость, нас двое, мы с ней плечом к плечу: если я могу быть и дальше в этом уверена, мне уже было не страшно, что бы ни случилось в будущем. Перед лицом бедствия у меня есть поддержка, та самая, которая была мне опорой, когда я так нуждалась в доверии, и если моя подруга поручится за мою честность, я готова поручиться за все остальное. Уже прощаясь с ней, я немножко замялась в смущении:

– Да, вот еще что вам надо иметь в виду: я только сей-

час вспомнила – мое письмо с этим тревожным сообщением придет раньше, чем вы приедете в город.

И я еще яснее увидела, как она пыталась увернуться от всего этого и как устала прятаться.

– Ваше письмо туда не дойдет. Оно так и не было отправлено.

– Что же с ним случилось?

– Бог его знает! Мистер Майлс...

– Вы думаете, он взял его? – изумилась я.

Она замялась было, но переборола себя.

– Да, вчера, когда мы вернулись с мисс Флорой, я заметила, что вашего письма нет там, куда вы его положили. Позже вечером я улучила минутку и спросила Люка, и он сказал, что не видел и не трогал никакого письма.

Мы обменялись по поводу этого своими размышлениями и догадками, и миссис Гроуз первая чуть ли не с торжеством подвела итог:

– Вот видите!

– Да, вижу, если Майлс взял письмо, он, конечно, прочел его и уничтожил.

– А больше вы ничего не видите?

Я молча смотрела на нее с грустной улыбкой.

– Мне кажется, с тех пор как у вас открылись глаза, вы видите больше, чем я.

Это и подтвердилось, когда она, чуть-чуть покраснев, сказала:

– Теперь я понимаю, что он проделывал в школе. – И со своей простодушной прямоотой, с каким-то чуть ли не смешным разочарованием она кивнула. – Он воровал!

Я задумалась над этим, стараясь быть как можно более беспристрастной.

– Что ж, вполне возможно.

Ее как будто изумило, что я отнеслась к этому так спокойно.

– Воровал письма!

Она не могла знать, чем объясняется мое спокойствие, правду сказать, скорее внешнее, и я отговорила, как смогла.

– Надо думать, что у него для этого были какие-то более осмысленные

цели: ведь в письме, которое я положила вчера на стол, нет ничего, на чем бы он мог сыграть – там только просьба о свидании, – и ему, по-видимому, уже стыдно, что он зашел так далеко ради такого пустяка, – вот вчера вечером у него это и было на душе, – ему хотелось сознаться.

Мне в ту минуту казалось, что я уже все поняла и что все у меня в руках.

– Уезжайте, уезжайте, оставьте нас, – говорила я в дверях, выпроваживая миссис Гроуз. – Я это из него выужу. Он не станет мне противиться – он сознается. А если он во всем сознается, он спасен. А раз он будет спасен...

– То и вы тоже? – Тут милая женщина поцеловала меня,

и мы с ней простились.

– Я спасу вас и без него! – крикнула она мне на прощанье.

## XXII

Однако когда она уехала – мне тут же стало ее не хватать, – я оказалась в крайне затруднительном положении. Если я рассчитывала выиграть что-то, оставшись наедине с Майлсом, мне сразу же стало ясно, что я переоценила свои силы. Никогда еще за все время моего пребывания здесь я не испытывала таких тревожных опасений, как в ту минуту, когда я, сойдя вниз, узнала, что коляска с миссис Гроуз и моей младшей воспитанницей уже выехала из ворот. «Теперь, – сказала я себе, – я одна лицом к лицу со стихиями», – и весь этот день, стараясь побороть свою слабость, я только и думала, как я могла быть такой опрометчивой. Положение мое оказалось гораздо труднее, чем представлялось мне до сих пор, тем более что у всех в доме прямо на лицах было написано, что стряслась какая-то беда. Разумеется, все были изумлены. Чем бы мы там ни отговаривались, внезапный отъезд моей подруги казался им необъяснимым. Служанки и слуги ходили с недоуменными лицами, и мне это так действовало на нервы, что положение дел становилось все хуже, пока я не решила, что вот этим-то и надо воспользоваться и самой прийти себе на помощь. Короче говоря, я только тем избежала полного крушения, что взяла бразды правления в свои руки; и могу сказать, что в то утро, когда я решилась на это, я, только чтобы не спасовать, держалась очень власт-

но и строго; мне важно было, чтобы все видели, что, представленная самой себе, я сохраняю удивительную твердость духа. С таким видом я часа два ходила по всему дому, и на лице моем ясно было написано, что я готова отразить любую атаку. Итак, для всех, кого это сколько-нибудь касалось, я деловито ходила туда-сюда, а на душе у меня была тоска.

Лицом, которого это как будто меньше всего касалось, был сам маленький Майлс, по крайней мере, до обеда. Во время моего обхода усадьбы он ни разу не попался мне на глаза, но это явно и показывало всем, как изменились наши отношения после того, как он накануне своей игрой на рояле так одурачил и провел меня ради Флоры. И то, что Флору потом держали взаперти, и ее отъезд сделали это очевидным для всех, да и сами мы теперь подтверждали происшедшую перемену, нарушив обычай с утра заниматься в классной. Майлса уже не было, когда я, сходя вниз, мимоходом заглянула к нему в комнату, а внизу мне сказали, что он уже позавтракал с миссис Гроуз и сестрой в присутствии двух горничных. По его словам, он пошел прогуляться, и я подумала, что этим он как нельзя лучше совершенно откровенно дал мне понять, что в моих обязанностях произошла крутая перемена. В чем будут теперь заключаться мои обязанности – это, по-видимому, нам еще предстояло выяснить: во всяком случае, я испытывала какое-то странное чувство облегчения – главным образом за себя самое, – что мы хоть в этом перестанем притворяться. Если уж столько всего открылось,

то скажу без преувеличения, что всего нагляднее открылась нелепость продолжать по-прежнему делать вид, будто я могу чему-то его учить. На все его маленькие молчаливые увертки, когда он даже больше, чем я, старался, чтобы я не уронила своего достоинства, я могла только взывать к нему, чтобы он был со мной самим собой, таким, какой он по природе. Во всяком случае, теперь ему была предоставлена полная свобода; я больше не покушалась на нее, и явным доказательством этого было то, что накануне вечером, когда мы сидели с ним в классной, я ни словом, ни намеком не заикнулась о том, что у нас будет перерыв в занятиях. У меня было совсем другое на уме. Но когда он наконец появился и я увидела это прелестное личико, на котором все происшедшее не оставило еще ни тени, ни следа, все задуманное мной показалось мне непреодолимо трудным, я не знала, как подступиться к этому.

Чтобы показать в доме, что я на высоте положения, я раз навсегда распорядилась, чтобы нам с мальчиком подавали обед в столовой, или, как у нас говорилось – внизу, и теперь в пышном великолепии этой комнаты ждала его перед окном, за которым в первое воскресенье после моего приезда мне открылось то, что только смутно мелькало в речах миссис Гроуз. И вот здесь сейчас я снова почувствовала – это чувство охватывало меня не раз, – что мое душевное равновесие целиком зависит от того, хватит ли у меня твердости духа закрыть как можно крепче глаза на ту истину, что все,



с чем мне приходится иметь дело, омерзительно, противно природе. Только полагаясь на природу, доверившись ей, надеясь на нее, можно было пойти на это ужасное испытание, как на какой-то страшный рывок в необычайную, противную сторону, очень трудный, конечно, но в конце концов требующий для боя на равных условиях только еще одного крутого поворота винта, чтобы выправить этот вывих естества, заложенного в человеке природой. Тем не менее ни одна попытка не требовала большего такта, чем вот эта – попытка заменить одной собой все природное. Как могла я вложить хотя бы частицу естественности в наше умолчание о том, что произошло? Но как, с другой стороны, могла я коснуться этого, не погрузившись снова в этот чудовищный мрак? Через некоторое время я нашла своего рода выход, и он, по-видимому, был принят одобрительно, ибо мой маленький сотрапезник, несомненно, обнаружил редкую для него прозорливость, как если бы он даже и сейчас – так это нередко бывало на уроках – нашел тактичный способ выручить меня; Не стало ли нам ясно – теперь, когда мы остались одни, – и так ясно, как еще никогда не бывало, что (при таких благоприятных обстоятельствах, на редкость благоприятных) нелепо было бы отказаться от помощи, какую может дать полное взаимопонимание. Для чего дан ему разум, как не для того, чтобы спастись. Нельзя ли как-то достичь его разумения через этот вывих его натуры, выправить, повернуть ее обратно? Когда мы остались с ним в столовой с глазу на глаз, он как будто

сам подтолкнул меня на этот путь. Подали жареную баранину, и я отпустила прислугу. Майлс, прежде чем сесть за стол, стоял с минуту, держа руки в карманах, посматривал на баранью ножку, и казалось, вот-вот отпустит какую-то шутку. Но вместо этого он сказал:

– Послушайте, дорогая, разве она и вправду так уж больна?

– Маленькая Флора? Нет, ничего серьезного, скоро поправится. Лондон поможет ей выздороветь. Блай стал ей вреден. Садись, кушай баранину.

Он сразу послушался, осторожно положил себе на тарелку жаркое и, усевшись за стол, продолжал:

– Как это так сразу случилось, что Блай вдруг стал ей вреден?

– Не совсем вдруг, как ты думаешь. Мы замечали, что ей неможется.

– Так почему же вы не отправили ее раньше?

– Раньше чего?

– Раньше, чем она совсем расхворалась.

Я быстро нашлась.

– Она не так больна, чтобы ее нельзя было увезти, но могла бы совсем расхвораться, если б осталась тут. Надо было захватить болезнь вовремя. Дорога ослабит влияние, – о, я говорила очень серьезно, – и сведет его на нет.

– Я понимаю, понимаю. – Майлс тоже был серьезен. Он принялся за свой обед с тем очаровательным умением дер-

жать себя за столом, которое со дня его приезда избавило меня от всякой необходимости делать ему замечания. За что бы ни исключили его из школы, это было не за неряшливость в еде. Сегодня, как и всегда, он держался прекрасно, безукоризненно, но заметно более настороженно. Ему явно хотелось признать как нечто само собой разумеющееся много больше того, чем он понимал и в чем мог разобраться без помощи, и он погрузился в дружелюбное молчание, нащупывая почву. Наша трапеза была из самых кратких – сама я только делала вид, что ем, и немедленно велела убирать со стола. Пока убирали, Майлс стоял, снова засунув руки в карманы и повернувшись ко мне спиной, – стоял и смотрел в широкое окно, за которым еще недавно я увидела то, от чего так взорвалась. Мы молчали, пока здесь была служанка, вот так же, почему-то подумалось мне, молодожены во время своего свадебного путешествия умолкают в гостинице, стесняясь присутствия официанта. Майлс повернулся ко мне только тогда, когда служанка оставила нас.

– Ну вот мы и одни!

## XXIII

– Да, более или менее. – Думаю, что улыбка у меня вышла бледной. – Не совсем. Нам было бы неприятно остаться совсем одним! – продолжала я.

– Да, пожалуй, неприятно. Конечно, у нас есть и другие.

– У нас есть другие, правда, есть и другие, – согласилась я.

– И все же, хотя они у нас есть, – возразил он, по-прежнему держа руки в карманах и стоя передо мной, – они не очень-то идут в счет, правда?

Я не подала и вида, что сил у меня больше нет.

– Это зависит от того, что по-твоему значит "очень"!

– Да, – с полной готовностью подхватил он, – все зависит от этого!

Затем он снова повернулся к окну и подошел к нему поспешными, нервными, как бы нетерпеливыми шагами. Он постоял немного, прикинув лбом к стеклу, вглядываясь в знакомые мне нелепые кустарники и унылый октябрьский день. У меня всегда была с собой для вида "работа", и под этим лицемерным предлогом я пошла и села на софу. Успокаивая себя этим занятием, как это бывало не раз в те мучительные минуты, о которых я уже рассказывала, когда я знала, что дети поглощены чем-то, к чему у меня нет доступа, я понемножку приходила в привычное состояние – готовности ко всему, самому худшему.

И вдруг на меня нашло что-то необычное, когда я, поглядев на спину мальчика, почувствовала, что он смущен и что мне сейчас доступ открыт. Это ощущение несколько минут все усиливалось, и внезапно я поняла, что оно связано с тем, что это ему сейчас закрыт доступ. Рамы и стекла громадного окна были как бы картиной, и для него в этой картине чего-то недоставало. Был он в этой картине или вне ее, во всяком случае, я видела его. Он был как-то растерян, но все так же прелестен: и во мне встрепенулась надежда. Не ищет ли он за этим колдовским стеклом чего-то невидимого ему, и не в первый ли раз за все время он терпит такое разочарование? В первый, в первый раз: я сочла это счастливым предзнаменованием. Его это заметно встревожило, хоть он и крепился; весь день он был в какой-то тревоге, и, даже когда сидел за столом, держась, как и всегда, учтиво, непринужденно, ему приходилось пускать в ход свой необычный дар, чтобы сохранить эту непринужденность. Когда он повернулся ко мне, казалось, что он лишился этого дара.

– Что ж, я, пожалуй, рад, что Блай не вреден мне!

– Ты, кажется, за последние сутки видел здесь так много, больше, чем когда-либо. Надеюсь, тебе это было приятно, – храбро продолжала я.

– О, да, я забрел очень далеко; обошел все кругом – за много миль от дома. Я никогда еще не чувствовал себя так свободно.

Он говорил своим обычным для него тоном, а я только

старалась вторить ему.

– И тебе это было приятно?

– А вам?

Он стоял передо мной, улыбаясь; и когда он произнес два эти слова, в них было столько проницательности, сколько мне никогда не доводилось слышать в двух словах. И не успела я ему ответить, он продолжал, как будто почувствовав, что это дерзость, которую надо смягчить.

– Вы так прелестно показываете свое отношение к этому, а ведь с тех пор, как мы с вами остались одни, вам больше приходится проводить время в полном одиночестве. Но я думаю, что вас это не очень огорчает, – прибавил он.

– Что я тебя мало вижу? – спросила я, – Милый мой мальчик, как же это может меня не огорчать? Хотя я и отказалась от всех притязаний на твое общество – ты так от меня отдалился, – тем не менее оно мне очень приятно. А ради чего бы другого я здесь осталась?

Он посмотрел мне прямо в глаза, и на его погрустневшем лице появилось такое выражение, какого я никогда не видела до сих пор.

– Вы только ради этого и остались?

– Разумеется. Я здесь как твой друг и потому, что принимаю в тебе большое участие, и останусь до тех пор, пока для тебя не подыщут что-либо подходящее. Тебя это не должно удивлять.

Голос мой прерывался, и я чувствовала себя не в силах

совладать с дрожью.

– Разве ты не помнишь, как я говорила тебе, в ту ночь, когда была гроза и я пришла и сидела около тебя на кровати, что нет на свете ничего такого, чего бы я для тебя не сделала?

– Да, да! – Он тоже, видимо, был взволнован и старался совладать со своим голосом; но ему это удалось гораздо лучше, чем мне: грусть, проступавшая на его лице сменилась улыбкой, и так, смеясь, он притворился, будто мы с ним весело шутим.

– А я-то думал, вы говорили это для того, чтобы я для вас что-то сделал.

– Отчасти для этого, – согласилась я, – мне хотелось чтобы ты для меня что-то сделал. Но ведь ты знаешь что ты ничего не сделал.

– Ох, да, вы хотели, чтобы я вам что-то рассказал, – ответил он с какой-то наигранной готовностью.

– Вот именно. Ну говори, говори сейчас же. Все, что у тебя на душе, ты сам знаешь.

– Ах, так вот, значит, для чего вы остались?

Он говорил весело, но сквозь эту веселость проступала дрожь накипавшего возмущения; у меня даже нет слов выразить, что я почувствовала, уловив в этом едва заметный признак того, что он сдается. Казалось, то, чего я так мучительно добивалась, вот-вот свершится, а я была только изумлена.

– Ну да, я могу тебе честно признаться, – для этого.

Он молчал так долго, что мне показалось, он теряется в

догадках, нет ли еще чего-нибудь, что могло заставить меня остаться, и наконец вымолвил:

– Вы хотите – сейчас, здесь?

– Самое подходящее и время и место – лучше не выбрать.

Он растерянно огляделся по сторонам, и у меня было странное – о, какое странное – впечатление, что я первый раз обнаруживаю у него признаки страха, который вот-вот завладеет им. Как будто он вдруг стал бояться меня, и мне пришло в голову, что, пожалуй, это было бы лучше всего – заставить его бояться. Но как я ни старалась напустить на себя строгость, все мои усилия были тщетны, и в следующую минуту я услышала свой голос, мягкий и чуть ли не до смешного кроткий.

– Тебе опять не терпится уйти?

– Да, ужасно!

Он героически улыбнулся мне, и это детское мужество было тем трогательнее, что мучительное усилие заставило его вспыхнуть. Он схватил шляпу, которую принес с собой, и стоял, вертя ее с таким видом, что я, уже почти достигнув цели, почувствовала неизъяснимый ужас от того, что я делаю. Каким бы путем я ни добилась признания, оно будет жестоким насилием над этим маленьким беспомощным существом, открывшим мне возможность такого прекрасного общения – ведь это значило внушить ему понятие грубости и вины. Не низостью ли было зародить в этом прелестном создании такое несвойственное ему стеснение. Кажется, я вно-



шу теперь в наши отношения ясность, которой еще не могло быть в то время, ибо мне представляется, что перед нашими бедными глазами уже сверкнула искра предвидения грядущей муки. И мы кружили один вокруг другого с мучительными сомнениями, со страхом, словно бойцы, не смеющие сойтись ближе. Но ведь мы же страшились друг за друга! Мы выжидали и еще некоторое время оставались невредимыми.

– Я все вам расскажу, – сказал Майлс, – то есть все, что вы хотите. Вы останетесь со мной, и нам обоим будет хорошо, и я сам хочу рассказать вам – да, хочу. Но не сейчас.

– Почему же не сейчас?

Моя настойчивость оттолкнула Майлса, и он опять подошел к окну и стоял молча, и в наступившей тишине, казалось, можно услышать, как пролетит муха. Затем он повернулся ко мне с таким видом, как если бы там за окном его ждал кто-то, с кем явно приходится считаться.

– Мне надо повидать Люка.

Я еще ни разу не доводила его до такой грубой лжи, и мне стало стыдно, как никогда. Но его ложь, как это ни ужасно, позволила мне открыть правду. Я старательно довязала несколько петель моей работы.

– Хорошо, ступай к Люку, а я буду ждать обещанного тобой. Только я попрошу тебя, прежде чем ты уйдешь – исполни одну мою не такую уж большую просьбу.

Он, казалось, считал, что перевес уже на его стороне и со мною еще можно поторговаться.

– Совсем небольшую?...

– Да, крошечную частицу всего целого. Скажи мне, – о, я вся была поглощена работой и говорила таким небрежным тоном! – не ты ли вчера днем взял со стола в холле мое письмо?

## XXIV

Я не сразу почувствовала, как он это принял – мое внимание на минуту резко раздвоилось, иначе я не умею это назвать, – я вскочила на ноги и невольным движением схватила Майлса, прижала к себе и, опираясь на стоявшую рядом мебель, бессознательно держала мальчика спиной к окну. Перед нами вырос призрак, с которым мне уже приходилось здесь встречаться: Питер Квинт стоял перед нами, как часовой перед окном тюрьмы. Я увидела, как он подошел к окну из глубины сада и, прикинув к стеклу и глядя сквозь него, еще раз показал нам бледное лицо грешника, осужденного навеки. Сказать, что мое решение было мгновенным, даст лишь грубое понятие о том, что происходило во мне в ту минуту; но я думаю, ни одна женщина при таком сильном потрясении не смогла бы в столь короткое время перейти к действию. Мне пришла мысль – вопреки ужасу перед неожиданно возникшим призраком, – с чем бы сама я ни столкнулась, что бы я ни увидела, мальчик ничего не должен заподозрить. Вдохновение охватило меня – иначе это не назовешь, ибо, пораженная страхом, я все же смогла действовать решительно и быстро. Так борются с демоном за человеческую душу, и, поняв это, я увидела, что у человеческой души, которую держали мои дрожащие руки, росой выступил пот на прелестном ребяческом лбу. Лицо, которое было так

близко от моего лица, казалось таким же бледным, как и то, приникшее к стеклу, и вот с губ ребенка сорвался голос, не тихий и не слабый, но шедший словно издалека, и я выпила его как мимолетное благоухание:

– Да, я его взял.

И тут я с радостным стоном обняла его и прижала к груди, чувствуя отчаянное биение сердца в этом маленьком, объятном лихорадкой тельце. Я смотрела на призрак за окном, не сводя с него глаз, и увидела, как он дрогнул, переменив позу. Я сравнила его с часовым, но, когда он медленно повернулся, это было скорее похоже на то, как уползает зверь, упустивший свою добычу. Теперь, однако, ожившее во мне мужество надо было притушить, словно пламя, чтобы не выдать себя. А тем временем призрак снова глядел в окно тяжелым неподвижным взглядом, готовый караулить и ждать сколько нужно. Сознание, что теперь я в силах бороться с ним, и уверенность, что мальчик его не видит, позволили мне идти дальше:

– Зачем же ты его взял?

– Чтобы посмотреть, что вы про меня написали.

– Ты распечатал письмо?

– Да, распечатал.

Мои глаза теперь смотрели прямо в лицо Майлсу – я держала его, чуть отстранив от себя, и полное отсутствие насмешки в его взгляде показало мне, что он весь извелся от беспокойства. Всего поразительнее было то, что его воспри-

ятие наконец благодаря моей победе словно притупилось и всякое общение призрака с ним прервалось; он чувствовал какое-то присутствие, но не знал чье, и еще меньше догадывался, что я тоже все вижу и давно все знаю. И что значила эта надвигающаяся беда теперь, когда мои глаза обратились к окну и увидели, что воздух снова чист и – победа, победа! – то влияние уничтожено. За окном ничего больше не было. Я почувствовала, что выиграла битву и наконец-то буду все знать.

– И ты ничего такого там не прочел! – Я дала волю своему ликованию.

Он грустно, задумчиво покачал головой.

– Ничего.

– Ничего, ничего! – Я почти кричала от радости.

– Ничего, ничего, – печально повторил он.

Я поцеловала его в лоб – он был весь в поту.

– Так что же ты сделал с письмом?

– Я его сжег.

– Сжег? – Ну, теперь или никогда. – Это ты проделывал и в школе?

Боже, что за этим последовало!

– В школе?

– Ты брал там письма? Или что-нибудь другое?

– Что-нибудь другое? – Казалось, теперь он думал о чем-то отдаленном, и мои слова доходили до него только под гнетом тревоги. Но все же дошли. – То есть крал ли я?

Я покраснела до корней волос, в то же время спрашивая себя, что более странно: задать джентльмену такой вопрос или видеть, как он его принимает, признавая всю глубину своего падения.

– И поэтому тебе нельзя вернуться?

Единственное, что проскользнуло в его взгляде, было невеселое удивление.

– Разве вы знали, что мне нельзя вернуться?

– Я знаю все.

Тут он посмотрел на меня долгим и очень странным взглядом.

– Все?

– Все. Так, значит, ты не...? – Я все же не смогла повторить это слово.

А он смог, и очень просто.

– Нет. Я не крал.

Мое лицо, должно быть, показало, что я верю ему до конца, но руки мои трясли его, – хоть и с нежностью, – словно спрашивая, зачем же он обрек меня на долгие месяцы муки, если все это было без причин?

– Так что же ты сделал?

В смутной тоске он обвел взглядом потолок и вздохнул два-три раза, видимо, с немалым трудом. Он словно стоял на дне моря и поднимал глаза к какому-то сумеречному зеленому свету.

– Ну... я говорил разное.

– Только это одно?

– Там думали, что этого довольно.

– Чтобы тебя выгнать?

Поистине, ни один "изгнанник" не приводил так мало объяснений своего изгнания, как этот маленький человечек! Кажалось, он обдумывал мой вопрос, но совершенно отвлеченно и почти беспомощно.

– Ну, наверно, не надо было говорить.

– Но кому же ты говорил?

Он, очевидно, постарался припомнить, но в памяти у него ничего не осталось – он забыл.

– Не помню!

Он чуть ли не улыбался, сдаваясь на милость победителя, и в самом деле, его поражение было настолько полным, что мне следовало на этом и остановиться. Но я была упоена, ослеплена победой, хотя даже в эту минуту то самое, что должно было нас сблизить, уже начинало усиливать отчуждение.

– Может быть, всем в школе? – спросила я.

– Нет... только тем... – Но тут он как-то болезненно дернул головой. – Не помню, как их звали.

– Разве их было так много?

– Нет, совсем мало. Тем, с кем я дружил.

С кем он дружил? Кажалось, я плыла не к свету, а к еще более непроглядной тьме, и уже минуту спустя в глубине жалости у меня возникла страшная тревога: а вдруг он ни в чем

не виноват? На мгновение передо мной открылась головокружительная бездна – ведь если он не виноват, то что же такое я? Пока это длилось, я была словно парализована одной этой мимолетной мыслью и слегка разжала руки, а мальчик, глубоко вздохнув, снова отвернулся от меня, и я это стерпела, зная, что за прозрачным стеклом, в которое он смотрит, ничего больше нет, и охранять его не от кого.

– А они рассказывали другим то, что слышали от тебя? – спросила я спустя минуту.

Потом он отошел от меня, все еще тяжело переводя дыхание и с таким же выражением лица, словно его силой держат в заточении, но сейчас он уже не сердился на это. И опять он посмотрел в окно на пасмурный день так, как будто ничего уже не оставалось от того, что его поддерживало, кроме несказанной тоски и тревоги.

– Да, – ответил он все же, – наверно, рассказывали, – и добавил: – тем, с кем сами дружили.

Почему-то я надеялась на большее; но тем не менее задумалась над его словами.

– И это дошло?...

– До учителей? Ну, да, – ответил он очень просто. – Но я не знал, что и они расскажут.

– Учителя? Они и не рассказывали... ничего не рассказывали. Вот поэтому я тебя и спрашиваю.

Он снова обратил ко мне свое прекрасное взволнованное лицо.



– Да, это очень жаль.

– Жаль?

– Не надо было мне говорить. И зачем же писать про это домой?

Не могу выразить, как трогательно-прелестен был контраст таких слов с тем, кто произнес их, знаю только, что в следующее мгновение у меня вырвалось от души:

– Какой вздор! – Но еще через мгновение мой голос прозвучал, надо полагать, достаточно сурово: – О чем же ты рассказывал?

Вся моя суровость относилась к его судье, к его палачу, однако мой тон заставил его снова отвернуться, а меня это его движение заставило с неудержимым криком одним прыжком перелететь к нему и обнять его. Ибо там, за стеклом, опять, словно для того, чтобы зачеркнуть его исповедь и пресечь его ответ, был мерзкий виновник нашего горя – бледное, проклятое навеки лицо! Мне стало дурно от того, что моя победа сорвалась и снова надо бороться, а мой неистовый прыжок только выдал меня с головой. Я видела, что этот порыв навел его на догадку, но, заметив, что даже и сейчас он только догадывается и что, на его взгляд, за окном и сейчас пусто, я дала этому порыву вспыхнуть ярким пламенем и превратить крайность его смятения в верный знак избавления от тревоги.

– Никогда больше, никогда, никогда! – крикнула я этому призраку и еще крепче прижала мальчика к груди.

– Она здесь? – задыхаясь, прошептал Майлс, уловив даже с закрытыми глазами, к кому направлены мои слова. И тут, когда меня поразило его странное "она", и я, задыхаясь, отозвалась эхом:

– Она?

– Мисс Джессел, мисс Джессел! – ответил он мне с неожиданной яростью.

Ошеломленная, я все же поняла, что его заблуждение как-то связано с отсутствием Флоры, и мне захотелось доказать ему, что дело не в этом.

– Это не мисс Джессел! Но оно за окном – прямо перед нами! Оно там – трусливое, подлое привидение, в последний раз оно там!

И тут, через секунду, мотнув головой, словно собака, упустившая след, он неистово рванулся к воздуху и свету, потом, вне себя от ярости, набросился на меня, сбитый с толку, тщетно озираясь вокруг и ничего не видя, хотя, как мне казалось, теперь это всепоглощающее, всепроникающее видение заполняло собой всю комнату, как разлитая отравка.

– Это он?

Я так твердо решила уличить Майлса, что мгновенно переменяла тон на ледяной, вызывая его на ответ:

– Кто это "он"?

– Питер Квинт, проклятая! – Его лицо выразило лихорадочное волнение и мольбу, он обвел комнату взглядом. – Где он?

В моих ушах и посейчас звучит это имя, в последнюю минуту вырвавшееся у него, и дань, которую он воздал моей преданности.

– Родной мой, что значит он теперь? Что может он когда-нибудь значить? Ты мой, – бросила я тому чудовищу, – а он потерял тебя навеки! – И крикнула, чтобы Майлс знал, чего я достигла: – Вон он! Там, там!

Но он уже метнулся к окну, взгляделся, снова сверкнул глазами и ничего не увидел, кроме тихого дня. Сраженный той утратой, которой я так гордилась, он испустил вопль, как будто его сбросили в пропасть, и я крепче прижала его к себе, словно перехватив на лету. Да, я поймала и удержала его, – можно себе представить, с какой любовью, – но спустя минуту я ощутила, чем стало то, что я держу в объятиях. Мы остались наедине с тихим днем, и его сердечко, опустев, остановилось.